

ТУХАЧЕВСКИЙ

Революции всегда давали много блестящих военных карьер. Правда, почти все эти карьеры (кроме генерала Бернадотта — короля Швеции) полны глубокого трагизма. Их вершина — генерал Бонапарт — император Франции. Их паденья — смерти у стенки — неаполитанского короля генерала Мюрата и «князя де Москва», маршала Нея. Еще более темна и страшна смерть в застенке генерала Пишегрю.

Русская революция дала своих красных маршалов — Ворошилов, Каменев, Егоров, Блюхер, Буденный, Котовский, Гай, но самым талантливым красным полководцем, не знавшим поражений в гражданской войне, самым смелым военным вождем красной армии III Интернационала оказался Михаил Николаевич Тухачевский.

Тухачевский победил белых под Симбирском, спасши Советы в момент смертельной катастрофы, когда в палатах древнего Кремля лежал тяжелораненый Ленин. На Урале он выиграл «советскую Марну» и, отчаянно форсировав Уральский хребет, разбил белые армии адмирала Колчака и чехов на равнинах Сибири. Он добил и опрокинул на французские корабли армию генерала Деникина. В войне с Польшей отчаянным маршем во главе беспримерной полуазиатской армии он пришел к стенам Варшавы с криком «Даешь Европу!». Он взял штурмом на льду Финского залива мятежный матросский Кронштадт. И той же весной, когда заколебалась власть Советов крестьянскими восстаниями, подавил, жестоко расстреляв, поволжскую мужицкую вольницу.

Кто ж он, красный маршал Советского Союза?

Нора для кротов ваша Европа! Великие империи и великие революции совершаются только на востоке.

Бонапарт

В наши дни никто ни о чем великом не думает. Я покажу пример.

Бонапарт

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОРУЧИК

Таковы уж шутки истории, что первым маршалом пролетарской армии стал последний отпрыск древнего дворянского рода, лейб-гвардии поручик. Правда, шумный и богатый род столбовых дворян Тухачевских к рождению вождя Красной Армии обеднел, спустив все на кутежи, рысаков и женщин. Двести десятин удобной и неудобной земли в Чембарском уезде Пензенской губернии, заброшенная усадьба, вишневый сад да парк с шумящими цветущими липами — вот все, что осталось у отца Тухачевского.

Михаил Тухачевский родился в 1893 году в родовом имении; в детстве не знал ни роскоши, ни изнеженности, мать умерла рано; Тухачевский рос на руках француженки-гувернантки в дружной семье: старший брат Александр, талантливый ученый, математик, рано умершая необычно красивая сестра Мария и брат Игорь, с детства поражавший музыкальными способностями. Семья Тухачевских была культурной, талантливой и типично русской дворянской семьей.

Деревенское детство Миши прошло приблизительно так, как детство тезки, былого недалекого соседа по имению, гусара с трагической судьбой, Михаила Лермонтова. Ребенком, гуляя за ручку с гувернанткой по старому парку, Миша говорил по-французски, как по-русски. Это впоследствии пригодилось в немецком плену. С детства Миша любил музыку, хоть сам ни на чем не играл. Мальчиком был отчаянным, диким и странным, так что отец благополучно вздохнул, когда из чембарской глуши привез Мишу в губернскую Пензу и поместил в стоящее на горе белое трехэтажное здание классической гимназии.

Но как юноша Сталин оказался глух к гомилетике и канонике, так же не приял и мальчик Тухачевский классицизма. Здание Пензенской гимназии необычайно обширно, мрачно, бывший дворянский пансион николаевской эпохи. Гулкие коридоры, грандиозные классы с громадными

окнами в сад, портреты царей в актовом зале, где столы накрыты зеленым сукном с позументом. Обучались тут наукам — неистовый Виссарион Белинский, террорист Каракозов с товарищами Иштутиным, Загибаловым, Ермоловым, дворяне-революционеры Войнаральский, Теплов.

Стройными рядами маршировали на молитву гимназисты в серых полувоенных куртках; молилась — пела хором — вся гимназия; на правом фланге второклассников стоит высокий, вихлястый темный шатен, красивый мальчик, под ежика, серые, странно разрезанные, чуть навывкате глаза, в фигуре что-то неуравновешенное, но сильное и упорное. Это — Тухачевский.

Он славится неуспешностью, неожиданными выходками и странным озорством. Поэтому каждый день Тухачевского, извальянного в пыли, тащит за руку за дверь надзиратель Кутузов. Желчный Кутузов истошно кричит: «Опять Тухачевский! Пожалте-ка за дверь!» На лице Тухачевского странная и упорная улыбка.

Через 12 лет судьба отчаянного мальчика неожиданно скрестилась с судьбой желчного неудачника-надзирателя. В октябре надзиратель Кутузов оказался большевиком и стал наркомпросом Пензенской губернии; его четыре сына, студенты, коммунисты-красноармейцы, были убиты в боях с чехами на улицах Пензы: а Красной Армией, выбившей чехов из Пензы, командовал тот самый вихлястый мальчик-шатен с упорной улыбкой, Тухачевский, кого таскивал Кутузов за руку.

Но в те далекие времена трудно было представить Мишу Тухачевского коммунистическим главнокомандующим. Не было ничего похожего. Заносчивый, необщительный, холодный, пренебрежительный Тухачевский держался от всех «на дистанции», не смешиваясь с массой товарищей.

У него был лишь свой «дворянский кружок», где велись разговоры о родословных древах, древности родов, гербах и геральдике. Научных интересов у Михаила Тухачевского не было; он ходил одиночкой, «диким мальчиком», не вызывавшим ни симпатий, ни дружб. В нем отсутствовала всякая грубость, но — полная оторванность от товарищей, аристократичность, замкнутость в себе и ко всем — подчеркнутая надменность.

На хорах Дворянского собрания гремит серебро драгунских труб, разливает уездную мелодию вальса «На сопках Маньчжурии». По залу в синих мундирах вальсируют гимназисты с гимназистками в белых фартучках. Тухачевский на балу в первой паре, тот же самый несложившийся кра-

сивый мальчик-шатен с странным прямым разрезом больших выпуклых серых глаз. Голубая распорядительская розетка на левом боку, сух, выдержан, вежлив. «Гвардеец».

Пусть недружен с товарищами, зато гимназистки от Миши без ума; и покончившая самоубийством будущая жена его, гимназистка Шор-Мансыревной гимназии, Маруся Игнатьева уверяет подруг: «Стоит Тухачевскому надеть фуражку, и он — красавец». У мальчика была тогда еще детская большая голова.

Этого дерзкого мальчика за вызывающий характер не любят учителя.

— Латинский язык, какая это гадость! — говорит на уроках латыни будущий командарм.

И кое-как дойдя до 6-го класса, командарм сообщил отцу, что желает военной карьеры. Отец знал: Миша бредит необычайной судьбой, блеском славы, Бог знает чем! Что ж, в роду Тухачевских было немало военных предков: гусары, кавалергарды, кирасиры Тухачевские украшали царскую конницу, ходили с Суворовым в Италию, с Румянцевым за Дунай, с Кутузовым против Наполеона. И странный, оформлявшийся в сильного юношу Михаил Тухачевский осенью 1911 года вместо Пензы уехал в Москву, в корпус.

Распущенно шедший в классической гимназии, в корпусе Тухачевский пошел иначе; натура упрямая, достигающая всякой цели, сказала; из вихлястого гимназиста в год вышел военно-выправленный ловкий кадет.

Умный, талантливый, не позволявший наступать себе на ногу, гордый, отчаянный Тухачевский импонировал товарищам; стал лучшим кадетом, мечтая только о лейб-гвардии и даже в лейб-гвардии наметил всего лишь два полка знаменитой Петровской бригады — Семеновский иль Преображенский.

Дальний прицел на лейб-гвардию, взятый тщеславным, одаренным юношей, осуществить было нелегко. Надо еще выйти в «павлоны», в Павловское военное училище, куда берут только дворян и лучших кадетов.

В отпуск на гимназическом балу в Пензе, среди мешковатых мундиров, обремененных латынью, гостем появлялся кадет Тухачевский. Черный мундир, белые погончики с царскими вензелями, снисходительная улыбка, еще больше прежней надменности. «Стараюсь позабыть латинский и, кажется, успеваю», — смеется бравый кадет. В военном он танцует гораздо ловчее. «Гвардеец... гвардеец чистой воды».

Много верных прицелов в жизни своей брал Михаил Тухачевский, но в 1912 году не попал в «павлоны», не

вышел, пришлось помириться на Московском Александровском, куда, за два года до мировой войны, в белое с колоннами здание у Арбатских ворот, прибыл охваченный манией военного величия юноша.

Юнкера-александровца вспоминаю в веселом и пьющем доме; не перепьет, громко не смеется, корректен, зятанут в мундир, по-печорински «оскорбительно вежлив»; вежливо ухаживает за простенькой, но хорошенькой подружкой сестры, Марусей Игнатьевой; это очень сдержанная, но все же, кажется, первая любовь.

— Тухачевский, вы когда кончаете училище? — спрашивает кто-то.

— Полтора года.

— И тогда?

Улыбается недоуменно-презрительно.

— Не в университет. В полк.

Тухачевский кончал училище фельдфебелем. На плацу лучше всех проводит ротное ученье, команда остра, отчетлива, несмотря что в обыкновенной речи фельдфебель никогда даже не повысит спокойного голоса. Но не только в строю шел первым. Тухачевский штудирует труды Клаузевица, биографии Бонапарта, Блюхера, Суворова, Мольтке. Юнкер болен, юнкер бредит наполеонизмом, и прицел на лейб-гвардии Семеновский полк выходит: будет первым выбирать вакансии фельдфебель Тухачевский.

Только без денег, без связей в царской гвардии нет пути, а Тухачевский беден как церковная мышь; перезаложены-заложены на всю семью 200 десятин земли в Чембарском уезде.

Но на помощь переходящему в манию нечеловеческому честолюбию кончавшего в 1914 году училище фельдфебеля пришла сама история: выстрелил Принцип.

Летом 1914 года лейб-гвардии Семеновский и Преображенский полки отбывали лагерный сбор под Красным Селом, но раньше обычного пришли в Петербург. На военном поле в честь прибывшего президента Франции состоялся гремящий парад. Отбивая ногу, церемониальным маршем шла Петровская бригада. Но еле успел, возвращаясь, проплыть немецкие воды французский президент, как «часом мобилизации считать одну минуту первого в ночь на 19 июля» — приказал всероссийский император, и грянули пушки на Рейне и в Пруссии.

Началась мировая война и необыкновенная карьера Михаила Тухачевского. Может быть, никто так не волновался в одну минуту первого в ночь на 19 июля, как фельдфебель

старшей роты юнкеров-александровцев. Открылось все: слава, карьера. Войне не нужны деньги, война хочет храбрости и таланта.

В августе 1914 года безусый юный двадцатилетний гвардеец, подпоручик Семеновского полка Тухачевский, вместе с офицерами всего Петербургского гарнизона входил в Зимний дворец. Царь приказал явиться офицерам для объявления манифеста и благословения.

В роскоши тридцатисаженного Большого Фельдмаршальского зала на голову поверх блестящей толпы офицеров выделялся главнокомандующий российских войск великий князь Николай Николаевич. Придворный протодиакон гремел октавой высочайший манифест; в одной половине — блеск офицерских форм, меж ними и двадцатилетний подпоручик Тухачевский; в другой — сквозь распахнутые двери, в форме полковника стрелкового полка, показался усталый царь Николай.

«Не положу оружия, доколе единый неприятельский солдат останется на земле Нашей!» — кончал протодиакон. И в наступившую тишину тихо проговорил царь:

— В вашем лице, столь дорогие моему сердцу войска гвардии и Петербургского военного округа, я благословляю всю Русскую армию.

От этого слабого голоса зал зашумел, опускаясь на колени, опустился и гвардии подпоручик Михаил Тухачевский. Государь уходил во внутренние покои дворца, а вслед ему Фельдмаршальский зал задрожал громовым офицерским «ура!». Императрица стояла с глазами, полными слез. Великий князь Николай Николаевич, перекрестясь широким крестом, сказал офицерам:

— С Богом.

Офицеры двинулись.

Предположить, что через четыре года Николая II расстреляют солдаты, гудящие на площади многоголосым «ура!», что главнокомандующий умрет во Франции эмигрантом, а спускающийся по великолепью Иорданской лестницы подпоручик станет красным полководцем, — было трудно.

Из Зимнего двора на Дворцовую площадь Михаил Тухачевский вышел вместе со всеми офицерами; а через несколько дней на петербургском дебаркадере пели тревожные сигналы к посадке; гвардейские солдаты, полувеликаны-семеновцы, которым жить бы да жить, грузились на мировую войну.

При последнем рожке на платформе начались благословения, слезы, женский плач; под торжественные звуки пол-

кового марша мимо платформы плавно, тихо тронулся эшелон.

Безусый подпоручик в офицерском вагоне был необщителен. Очевидцы говорят, много было напускной важности в облике этого двадцатилетнего офицера; было, пожалуй, даже что-то смешное; одежда чересчур вычурна, во всем подчеркнут «фронтвик» и «война», на боку не общая, а кривая шашка и громадная (какую носят только кавалеристы) кожаная неуклюжая тяжелая сумка, набитая картами и планами фронта.

Кругом шумели, курили, говорили о войне.

— Максимум в четыре месяца кончится!

— Не больше. Гвардию берегут, пожалуй, и кончат без нас.

— Пустили бы хоть в бой наподобие Ташкисена.

Офицеры хохотали, знали, что под Ташкисеном был единственный бой Петровской бригады с турками в кампанию 1878 года.

Странно, что никто не засмеется, не подшутит над необщительным безусым подпоручиком с странно разрезанными серыми, чуть навывкате глазами. Он рассматривает исчерченную красным и синим карандашом карту Юго-Западного фронта.

Поезд с гвардией идет быстро. Вместе со стуком колес солдаты вразброд, вразнобой поют:

Ура, гвардейские уланы,
Кто не слышал про молодцов!

В БОЯХ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Осень стояла мокрая, дождливая. Туманы. На театр военных действий подпоручик Тухачевский прибыл в конце августа 1914 года.

Русские позиции утопали в грязи; настроение войск упало; уж застрелился генерал Самсонов, опозорен генерал Ренненкампф; немцы прорвали наревский фронт и, казалось, временно выбили Россию из военной игры.

Но русский главнокомандующий великий князь Николай Николаевич новыми наступлениями торопился доказать, что Россия привыкла и не к таким поражениям. Он наседали на медлительного командующего Юго-Западным фронтом генерала Н. И. Иванова, чтобы наступал на австрийцев Конрада фон Гетцендорфа.

Войска сводились в новые армии, готовя Гетцендорфу удар. Темной осенней ночью двинулась и Петровская бри-

гада походным порядком от красавицы Варшавы на линию Люблин — Холм выручать гренадер, зажатых австрийцами. Петровской бригаде приказано — восстановить положение.

Среди блеска военных имен первого ранга — Гинденбурга, Жофра, Людендофа, Фоша, Гофмана, легкомыслия Гетцендорфа и бесславья Романова — началась и боевая карьера красного маршала Тухачевского,

Младшим офицером в 6-й роте Семеновского полка уже в нескольких боях ходил подпоручик Михаил Тухачевский; от неуклюжей толстой сумки осталось смешное воспоминание: вместе с шашкой позабылась в обозе второго разряда. В перебежках, в окопах, по ходам сообщения ходит с револьвером на боку, в длинной, грязной шинели, обстрелянный, овеванный войной. Бойкие полковые писаря уж вписали в послужной список: «Участвовал в походах и боях против Германии и Австро-Венгрии».

Город Люблин был только семеновцам обязан своим спасением. Как львы дрались тут полувеликаны-гвардейцы; бились и под Яновом. Подпоручику Тухачевскому в боях везло: не контужен, не ранен. «Я, по обыкновению, цел. Счастье за меня», — писал с войны артиллерийский поручик Бонапарт. Но не в этом офицерское счастье.

Храбрый командир 6-й роты капитан Веселаго, встретивший надменного безусого подпоручика сдержанно и, пожалуй, даже недружелюбно, в боях отдал должное его хладнокровию. А вскоре под Кржешовом, 2 сентября, когда, выполняя план наступления генерала Иванова, встреченный бешеным австрийским огнем Семеновский полк подошел к реке Сан, — о Тухачевском заговорили офицеры полка.

Под Кржешовом — первое дело, где выявилась безоглядная храбрость Тухачевского, Кржешов приказано было взять. Фронтальный бой семеновцев с австрийцами был горяч, упорен, безрезультатен. Командир приказал второму батальону, в шестой роте которого был Тухачевский, идти в обход австрийскому флангу. Батальон обход сделал быстро, незаметно, глубоко, и в решительный момент боя неожиданно появился во фланге австрийцев.

Австрийцы смялись, кинулись в отступление, стараясь только взорвать мосты через Сан. Но один из деревянных приготовленных к взрыву мостов стал «лодийским мостом» Михаила Тухачевского.

С 6-й ротой Тухачевский бросился на горящий мост; по горящему мосту пробежала рота, преследуя смявшихся ав-

стрийцев, и пошла в атаку на том берегу. Были взяты пленные и трофеи. В бригаде, в дивизии, в корпусе оценили дело под Кржешовом.

О юном подпоручике заговорили однополчане. Но первое дело не только не удовлетворило, а озлобило Тухачевского. Командир полка вызвал капитана Веселаго и подпоручика Тухачевского, пожимая руки, сообщил, что представляет к наградам: командира роты к Георгиевскому кресту, младшего офицера к Владимиру II степени с мечами. Безусый, молчаливый, красивый подпоручик не понравился командиру. Тухачевский считал себя явно обойденным. Захват горящего моста приписывал только себе и этого не скрыл на отдыхе за обедом в офицерском собрании.

Очень может быть, что даже дорого обошелся старой России этот Владимир с мечами. Он стал первым недовольством Тухачевского старой армией, замершей в иерархии и бюрократизме, не оценивающей «гениальных способностей» будущего красного Бонапарта.

Но как бы то ни было, карьера началась. Хоть не пользовался любовью однополчан на отдыхе чуждавшийся общего веселья, шуток, выпивки, женщин сумрачный, всегда ровный, со всеми холодный Тухачевский, — но о нем заговорили и имя его узнали в корпусе.

После Кржешова суждения Тухачевского о военных операциях стали еще апломбней. Не по чинам и возрасту заносчив и серьезен поручик. Только храбрость, ум и безупречность в боевой службе не позволяли никому посмеяться над чувствующим себя полководцем юношей с как будто рассеянной, но в то же время очень упорной походкой.

После напряженных боев у Новой Александрии, где отбилась от немцев Петровская бригада, ее кинули под Ивановгород, на форты которого насел крепкий венгерский корпус.

Тяжелая распутица топила людей, коней, двуколки, орудия, обозы. По наскоро наведенным понтонным мостам семеновцы переправились через Вислу. Издалека глухо вздыхала немецкая артиллерия. В районе крепостной обороны, в разоренном местечке Гневушев, по колону в жидкой грязи, Веселаго и Тухачевский остановили роту. Поливаемых дождем и снегом солдат разводили на ночь квартиры.

А с серым рассветом, без выстрела, семеновцы заняли отведенный им боевой участок. На склонах за увалами на холмах виднелись позиции венгров; шел дождь, снег, несся ледяной ветер; в мертвом рассвете не слышалось выстрела;

так прошел тихий день; наступила звездная осенняя ночь; острыми змеями взлетали ракеты, вспыхивая на темно-вызвездившем небе, падали в черноту дикой земли меж русскими и венгерскими линиями.

Но на втором рассвете, когда невыспавшиеся солдаты казались иззеленя-бледными, венгерская артиллерия повела обстрел русских позиций. Он разрастался. Русская полевая отвечала; пошла гудящая артиллерийская дуэль; снаряды подымали кучи черной земли и дыма, и в рассветном небе бело-розовыми птицами полыхала шрапнель.

К вечеру заревела русская гаубичная батарея, и семеновцам был отдан приказ: «Гвардейцы, вперед!»

В неглубоких, наскоро рытых окопах зашевелились, поднялись семеновцы, справа преображенцы, 6-я рота с идущими на флангах капитаном Веселаго и подпоручиком Тухачевским длинной цепью двинулась на венгров.

Бешеный заварившийся огонь открыли венгры. Санитары подбирали, падая, стонущих людей. «Разрывными бьют!» — кричали русские. Венгры действительно били разрывными. Словно захлебываясь бешенством, шили пулеметы; передовая венгерская линия в двухстах шагах, у разрушенного фундамента сожженного дома, но это расстояние семеновцам надо идти по обращенному к неприятелю склону пашни.

Семеновцы окапывались, перебегали. С винтовкой наперевес, пригибаясь, крича: «Братцы, вперед!» — бежал грязный будущий красный маршал впереди роты. Но так и не прошли двухсот шагов дикой земли семеновцы под венгерскую ружейно-пулеметную рапсодию.

Вечером с болот тянулась туманная сырость. Венгерский огонь застыл, изредка вздрагивая пулеметом. Вжимаясь в землю, окопались, лежали на пашне царские гвардейцы. С лицом, облепленным брызгами грязи, завернувшись в рваную шинель, в свежевзрытой снарядом воронке лежал Тухачевский.

— Послушайте, ползите сюда! — приподнявшись, полукрикнул пожилому однополчанину, лежавшему недалеко. Тот подполз, прыгнул, поздоровался,

— Не дойдем, — проговорил, умащиваясь рядом с Тухачевским, старый офицер, седой и бородатый.

— Надо дожидаться темноты, сейчас наступать — абсурд, — сказал Тухачевский.

По гребню недалекой канавы, подымая в сумерках землю, как хорошая швея прострочила, прошел венгерский пулемет.

— Видите, как пристрелялись, сволочи! Головы не высунешь! — сказал Тухачевский, помолчал и добавил: — Приказано атаковать ночью.

Офицер что-то пробормотал, поворачиваясь в воронке, чуть сдавливая Тухачевского. То и дело на высоте аршина воздух со свистом резали пули, иногда упирались в землю и тогда обдавали сырой землей.

— Сегодня жена командира прислала, не хотите? — улыбаясь в темноте, протянул на грязной ладони Тухачевский офицеру леденцы. — Рекомендую, утоляют жажду... кисленькие...

— Спасибо, — взял тот и засмеялся.

Поворачиваясь со спины на пузо, Тухачевский тихо сказал:

— Смотрю на вас, знаете, и удивляюсь.

— Чему?

— Да так. Вы ведь сами пошли на войну. А зачем? Были в отставке, пожилой уж человек, для вашего будущего все у вас есть, и вдруг пошли в эту бойню? — Тухачевский даже коротко захохотал, что случалось с ним редко.

Артиллерия венгров ударила. Стихло. И снова далеко, словно прося воды и сию минуту захлебываясь, заклокотал пулемет.

Офицер в воронке даже взволновался.

— Позвольте, да как же я могу сидеть сейчас в тепле и уюте, когда встала вся Россия? Это всего-навсего долг. Чего ж тут удивительного? Так поступают тысячи. Ведь вы сами тоже здесь и, вероятно, не считаете это странным?

— Я? — в темноте проговорил Тухачевский, словно даже чуть удивленно. — Ну, я другое дело. — Он натянул на голову крепче грязно-скомканную фуражку, помолчал и сказал для него даже странно, необычайно горячо: — Что у меня впереди? В лучшем случае через годы служебной лямки пост бригадного генерала. Это когда из меня песок посыплется. Война, мой друг, для меня все! Для меня тут или достичь сразу всего, что хочу, в год, в два, в три. Или — погибнуть. Я сказал себе, либо в тридцать лет я буду генералом, либо меня не будет в живых!

Стемнело. Огонь венгров замер. Где-то совсем далеко, влево, у преображенцев тихо строчили пулеметы. Против семеновцев лишь стаями вылетали ракеты; венгры приготовились к русской атаке и шупали темноту, ожидая.

— В войне — вся цель моей жизни с пятнадцати лет! — сказал Тухачевский, и офицер видел в темноте

испачканное комьями земли лицо, выразительное и красивое. — Вот за два месяца, что мы в боях, я убедился — для достижения того, что я хочу, нужно только одно — смелость! Да еще, пожалуй, вера в себя. Ну, а веры в себя у меня достаточно.

В этот момент к воронке Тухачевского подползла на корточках темная фигура.

— Ваше высокоблагородие, связь от батальонного, приказ подымать в атаку.

— Хорошо, скажи, подымаю, — проговорил Тухачевский, приподымаясь в воронке. — Прощайте, — засмеялся он собеседнику, который, чуть пригнувшись, стал перебежать к своей части.

Перед атакой все стихло. Были только взлеты, всплески цветных венгерских ракет, да иногда густой хаос ночи прорывал лунный сноп прожектора. В темноте стали вставать, подыматься семеновцы. И вдруг вместе с криками «ура!», разрезая линией огня темноту, слился внезапный треск пулеметов и ружей. Это царская гвардия пошла в атаку. 6-ю роту, крича «ура!», с винтовкой наперевес, бегом вел Тухачевский. Коротким рукопашным боем гвардия овладела венгерскими окопами и отбросила венгров далеко за Гневушев.

Тяжелые бои, изнурительные переходы с Семеновским полком проделал Михаил Тухачевский; ходил в штыковые атаки, глубокие обходы; два месяца за веру в свою звезду бился под Ломжей.

Осень сменилась вьюжной зимой; понесла метелица, запуржило, занесло русский фронт; а на фронте, хоть и готовил ему новые задания великий князь, не хватало уж ни огнеприпасов, ни провианта, ни бодрости.

Полумиллионную армию под командой генерала Иванова — «через Карпаты в Венгрию» — направлял Верховный. Напрасно указывали князю на снега, морозы, заносы и невероятность операции. У великого князя глазомер и натиск — все. А сражаться можно и во льду, и в снегу, сказал князь, отправляя войска на очередное бесславие.

Два удара решил нанести великий князь. Еще — генерала Сиверса через Мазурские болота направлял в Восточную Пруссию. Это были не планы стратега, а сумасбродство сатрапа.

В вьюге, в метели, в ледяных ветрах гибли русские войска в Карпатах. А меж Сувалками и Августовом генерала Сиверса зажали немцы такими клещами, что уничтожили всю 110-тысячную армию. В этих 110 000 уничтожили и военную карьеру Тухачевского на мировой войне.

Ночь стояла страшная, плачущая метелью, стонущая в темноте. В темноту, в метель, в буран, прорвав фронт, обошли немцы семеновцев и бросились с тылу в атаку. В хаосе февральской снежной ночи началась рукопашная.

Из блиндажа 6-й роты выскочившего командира капитана Веселаго четверо немецких солдат закололи штыками; на теле, найденном впоследствии, остался нетронутым Георгиевский крест и было больше двадцати штыковых ран.

Мало кто из семеновцев в эту ночь вырвался из немецкого кольца. Вырвавшиеся рассказывали, что Тухачевский в минуту окружения, завернувшись в бурку, спал в окопе. Может быть, он видел сон о славе? Но когда началась стрельба, паника, немецкие крики, Тухачевский вскочил, выхватив револьвер, бросился, стреляя направо и налево, отбивался от окруживших немцев. Но врывавшимися в окопы немецкими гренадерами был сбит с ног и вместе с другими взят в плен.

Вот она, мечта, карьера, звезда, вся жизнь! За мост, за храбрость, за риск головой вместо Георгия — Владимир, а вместо боевых отличий — позорная сдача сотысячной армии.

За Сувалками пленных офицеров грузили в вагоны; и поезд вскоре уже шел по той Восточной Пруссии, куда должен был ворваться генерал Сиверс по бесталанной импровизации великого князя.

ПЯТЬ ПОБЕГОВ ИЗ ПЛЕНА

Много крепких лагерей выросло в мировую войну на равнинах, скалах, горах, на морском берегу Германии.

В Пруссии славился форт Цорндорф при крепости Кюстрин у Одера и Варты; в Саксонии — неприступная древняя крепость Кёнигштейн, где в 49-м году сидел заключенный русский бунтарь Бакунин; в Баварии форт № 9 крепости Ингольштадт; в игрушечно-живописных горах Гарца — Клаусталь, Альтенау; в Шварцвальде, Тюрингии, на берегах Северного моря — везде росли лагеря, опутанные колючей проволокой.

Зима стояла снежная, морозная, с сугробами, с синим инеем. Был конец февраля. Поезд с русскими офицерами, пуская дымы, шел по белым полям к северу, к морю, в Штральзунд. Говорят, Тухачевский был молчалив; казалось, равнодушно глядел в окно на чужие, однообразные, белые равнины. Но это равнодушие глядевшего в окно по-

ручика было, вероятно, не сродни психическому столбняку, овладевающему пленными.

За решеткой лагеря Штральзунд, зорко охранявшегося часовыми, собаками и седым бушующим морем, Тухачевский по прибытии обратил на себя общее внимание; стал в отчаянную оппозицию немецкому начальству. По пустыкам и непустыкам подавал вызывающие рапорты; и, бравлируя, походя говорил, что в Германии долго не засидится.

— Вот дождусь только тепла, а там убегу из лагеря, украду лодку, проплыву до Рюгена, с него в Швецию и в Россию, в полк.

Лагерная жизнь пленных шла монотонно, по-монашески; по сигналу обед из оранжевой брюквы и картофеля; отдых; прогулка; сон: перед сном в столовой собирались у пианино, кто в домино, вспоминали о войне, читали газеты, обсуждая шансы стремительно начавшегося наступления Маккензена.

Наступление Тухачевского волновало. Из России пишут: одноклассники уж командуют ротами, батальонами; у одних — Георгиевские кресты, у других — золотое оружие; из писем с родины и фронтовых сводок несвобода Штральзунда превращалась для Михаила Тухачевского в гроб и в смерть.

Бредить с 15 лет военной славой: в тридцать лет обязательно «быть генералом», прекрасно начать с моста под Кржешовом и кончить брюквой, картофелем и немецким морем.

Сужденья Тухачевского о войне были страстны. Сверстники, сторонясь его, не дружили с странным поручиком; зато любили старики гвардейцы, как бы даже с восхищением говоря: «Наш, львенок, настоящий семеновец, из стаи славных...»

Все еще стояла зима; с моря дул северный ледяной ветер; но вдруг побегом Тухачевского опередил поручик Кексгольмского полка, бежавший именно так, как хотел семеновец. Лагерь пришел в волнение. Тухачевский взволновался сверх меры: поймают или убежит?

Но через четыре дня в ворота лагеря уже вели оборванного и продрогшего кексгольмца. Лодка не дошла до Рюгена, села на мель, немецкие рыбаки нашли полузамерзшего пленного и сдали его полиции.

— Я говорил — глупо! Неверно выполнено! — возбужденно рассуждал Тухачевский. — Разве можно сейчас бежать, в такой холод? Надо ждать тепла, вот придет лето, тогда и увидим!

Когда серость Северного моря разрывалась солнцем и голубым небом, Тухачевский становился все нервней в ожидании побега.

— Где же летом будете, поручик?

— В Карпатах, в полку.

И «львенок» улыбается упорно и странно. Июнь был жарок, безоблачен; море тихое, с всплесками дальних белых гребней и стаями чаек. Тухачевский предпринял побег в июньское воскресенье. Расчет был таков: с прогулки бежит в поля, ночью пробирается полями до моря, ищет пустую рыбацкую лодку и в ней «быстро пускается в путь» по морю в Швецию.

На прогулке за что есть духу бросившимся Тухачевским побежали конвойные, но все же Тухачевскому удалось скрыться. Долгие дни проводил он в хлебах; ночью выходил на поиски рыбацкой лодки, но как ни рыскал по суровому песчаному берегу, лодки, на несчастье, не находил.

На третьей неделе, буйной ветреной ночью, на морском берегу настиг и схватил Тухачевского военный патруль.

— Первый блин комом, — говорил исхудалый, голодный, искусанный до волдырей комарами за время пребывания в хлебах Тухачевский, — но зато уж хлеба я им потоптал, не меньше десятины никак. Все-таки не без пользы время провел, хлеб для них теперь все.

После отсидки под арестом за побег резкость поведения Тухачевского только усилилась; а тут начались волнения из-за приказа снять офицерам погоны. Царские погоны Тухачевский снять категорически отказался; и за это вместе с другими увезли его из Штральзунда в лагерь Бесков, где собрали до ста офицеров, не подчинившихся приказу.

Комендатура убеждала, но безрезультатно, а когда приказ был внезапно отменен и по всем лагерям погоны вновь надеты, с «бесковцев» в наказание комендатура сняла погоны насильно. Произошел бой, дикую горячность в котором проявил Михаил Тухачевский.

Хлопотно старому коменданту с этим семеновцем. Военнопленных здесь и так не выпускали на прогулку, но для устрашения комендант вывесил все же приказ: «Всякая отлучка из лагеря без моего специального разрешения будет караться тюремным заключением». И на следующий же день Тухачевский подал коменданту рапорт: «Предполагая сего числа бежать из германского плена, дабы вступить в ряды действующей русской армии, прошу вашего специаль-

ного разрешения, согласно вашему приказу, на выход за пределы лагеря Бесков. Российский гвардии поручик Семеновского полка Михаил Тухачевский».

Через полчаса Тухачевского под конвоем отправляли под строгий арест. Правда, после этого комендант устрашающий приказ снял.

Но не из-за бравады, шума и бума подавал свои рапорты Тухачевский; это была рискованная игра; лучше смерть была на границе от пуль часовых, чем живая смерть плена. Из Бескова бежать трудно, и Тухачевский решил идти на все резкости, чтобы только «переменить местность».

Надоел ли он коменданту, случайно ли, но после последнего ареста Тухачевскому повезло: с партией офицеров увезли в мекленбургский лагерь Бадштуер.

В Бадштуере было больше свободы; поэтому стал только нетерпеливее Тухачевский; среди пленных присматривал товарища для побега; а когда нашел отчаянного армейского прапорщика Семенова, решил бежать в ближайшие же дни. При обдумывании плана на помощь пришли воспоминания побегов русских революционеров из тюрем.

— Знаете, Семенов, — говорил Тухачевский, — читал я о побеге террориста из сибирской тюрьмы; его вывезли в телеге в кадушке с капустой за ворота, и он бежал.

— Но его же вывезли, наверное, сообщники? — возражал Семенов. — А кто ж нас тут повезет, немецкие солдаты?

Но этот план побега Тухачевского не покидал; а когда увидел на лагерном дворе пригнанных на работу русских военнопленных солдат, бросился к Семенову сообщить о важном событии.

План был осуществлен. Бегуны постепенно сговаривались с приходившими убирать помещение русскими солдатами; и одним темным вечером вывезли солдаты будущего командарма и прапорщика Семенова за ворота в телеге с мусором и за лагерем свалили в яму.

В яме лежали до ночи, а ночью тронулись в длинный, километров в 500, путь к голландской границе. Был июль; днем забирались в леса, в хлеба, в овраги — спали; а ночью шли хорошими военными переходами.

Уже неделю пробирались по военной Германии; шли по компасу и карте, за ночь выходило километров 20 «полезного пути», не считая ошибок и крюков.

Все благоприятствовало: штатский костюм, хороший компас, карта, небольшой запас еды; но не предусмотрели одного: через неделю вышли все спички.

Бывало, забравшись в овраг, варили в котелке картофель, поддерживая силы горячей пищей, теперь жевали только хлеб; но и его не оставалось. Беглецы обессилели, ночные переходы сократились, а до границы не меньше 200 километров. Охватывало волнение; и решили идти на отчаянность, а достать спички!

Более чисто одетый Семенов пошел на ура в первую деревню. Тухачевский остался под деревней в овраге; час бегал Тухачевский, но через час, делая знак, что все благополучно, Семенов показался на шоссе.

— Со спичками мы преобразились, — вспоминал Тухачевский позже, — нам как будто что-то в жилы влили; а тут наткнулись еще на утиное гнездо, варили яйца, и уверенность в побеге была полная.

Из сухих веточек листовенницы днем разводили огонь, такой костер не дает дыму, а огня не видно, словно спирт горит; беглецы осмелели, но эта смелость их и погубила.

У самой границы решили реку не переплывать, а на авось пройти по мосту. И только ступили на мост, как из-под моста вырос шлем и серая шинель немецкого часового. Взгляда было достаточно: побежали беглецы в разные стороны, но Тухачевскому не повезло. Часовой бросился в погоню за левым, Тухачевским, а не за Семеновым; долго бежали, обессилел Тухачевский, упал, и солдат схватил его.

— Вы шпион? — начал допрос Тухачевского комендант ближайшего города. Это пахло расстрелом.

— Нет, военнопленный.

— Документы?

— Документов нет.

Казалось, в момент срыва почти осуществленного побега можно было предаться отчаянию; но Тухачевский выказал железное упорство, сказал, что он солдат из недалекого от границы, случайно известного солдатского лагеря. В наручниках под конвоем отправили Тухачевского в солдатский лагерь, но там пленного не признали, а так как он отказывался назваться, посадили в местную тюрьму.

Ночью в тюрьме Тухачевский уговорил двух унтер-офицеров бежать: тюрьма охранялась плохо; с двумя солдатами в ту же ночь Тухачевский бежал; оба унтер-офицера удачно перешли границу, но у Тухачевского сорвался побег в третий раз: его схватили за тридцать шагов до Голландии.

Не то обессилел, не то отпираться на границе было рискованно, Тухачевский назвал себя, и его повезли в Бадштуер; опознав в Бадштуере, — дальше, в славившийся

строгостью штрафной лагерь форт Цорндорф при крепости Кюстрин.

От станции около трех километров вели Тухачевского в гору; был темный глубокий вечер; в темноте, показалось Тухачевскому, подошли к небольшому бугру; блеснул огонек; идя меж солдат, стал спускаться по широкому, плохо освещенному коридору куда-то вглубь. В тусклом свете различил решетчатые железные ворота и часового. Потом — лестница, узкий коридор, наконец, открылась небольшая дверь каменно-подземного помещения.

В почти огромной крепостной комнате с сводчатым потолком и несколькими арками свисали две тусклые спиртовые лампы, в клубах трубочного дыма шел громкий разговор. Тухачевский разглядел человек 50 офицеров, кто за картами, за шашками, кто около большой печи дымит над кастрюлями, кто завалился на поставленные друг на друга железные кровати; французы, русские, англичане, бельгийцы.

Но сильна была вера в судьбу и в «свою звезду»: с французским генералом Гарро и неизвестным англичанином через несколько дней начал рыть Тухачевский в Цорндорфе подземный ход, готовя четвертый побег.

Был уже назначен день и час, но по доносу за полчаса открыли подземный ход и Тухачевского повезли из Цорндорфа в Баварию, в еще более суровый лагерь — форт № 9 крепости Ингольштадт.

Сюда свозили негнущихся, многократных бегунов, оскорбителей начальства, подобрались тут отчаяннейшие головы со всего немецкого плена. Это была компания с богатым архивом побегов и изумительной коллективной франко-бельгийско-русской изобретательностью.

Время бессонных ночей на форте № 9 тянулось в рассказах о побегах, щеголяли офицеры находчивостью, лихостью, остроумием плана. Когда в форт привезли Тухачевского, его уже знали как маниакального бегуна, о нем уж шли разговоры в интернациональной компании.

Двери камер ингольштадтского форта № 9 выходили в темный коридор, разделенный посередине тяжелыми железными воротами на восточное и западное крылья. В пять часов ворота запирались; меж крыльями прекращалось общение; вместе с французами генералом Гуа, Гарро, Маршалем, Ломбаром, Ферваком Тухачевский жил в восточном крыле. В каземате тягучее время плыло звенящей тишиной.

Уж был 1916 год на исходе.

— Вот вы думаете о побеге, мсье Мишель, а скажите, вы верите в Бога? — говорит живущий с Тухачевским в одной комнате француз лейтенант Фервак.

— В Бога? — Тухачевский удивлен, странно выпуклые глаза улыбаются. — Я не задумывался над Богом.

— Как? Вы атеист?

— Вероятно. Большинство русских вообще атеисты. Все наше богослужение — это только официальный обряд, так сказать, — прием. Не забывайте, Фервак, что наш император носит кроме короны — тиару. Он папа, — смеется Тухачевский. — У нас есть секты, но нет ересей. Ваши, например, муки совести и прочее нам неведомы. Заметьте к тому ж, что мы, как интеллигенты-горожане, так мужики и рабочие, все презираем попов. Они в наших глазах наихудшие из чиновников.

— Но позвольте, — уже горячится Фервак, — вы хотите, кажется, утверждать, что русский народ целиком нерелигиозен?

Тухачевский встает, ходит длинным шагом по каземату, не глядя на собеседника, глядя в каменный пол; он чуть-чуть улыбается тонким ртом и странными грустными глазами.

— Нет, как раз наоборот, я хочу сказать, что мы, русские, все религиозны, но именно потому, что у нас нет религии. Я не христианин, — остановился он перед католиком, — больше того, я даже ненавижу того нашего Владимира Святого, который крестил Русь, тем отдав ее во власть западной цивилизации! Мы должны были сохранить наше грубое язычество, наше варварство. И то и другое. Но постойте, и то и другое еще вернется, я ведь в это верю! Владимир Святой заставил нас потерять несколько столетий, но только и всего.

— Ого! — захохотал Фервак. — Если вы так неодобрительно отзываясь о вашем князе Владимире, то, вероятно, уж вовсе ненавистно должны отзываться о великом императоре Петре? Ведь это именно он вас европеизировал?

Тухачевский, прохаживаясь, сделал детский жест досады.

— Ничуть! Вы не понимаете Петра! Это был гигантский, грандиозный варвар, и именно русский, именно такой, какой нам сейчас нужен. Что ж вы думаете, он хотел сделать из Петербурга Версаль и навязать нашему народу вашу культуру? Нет! Он только взял у Запада секрет его силы, но именно для того, чтобы укрепить наше варварство. Лично он сохранил культ наших старых богов. К тому

ж, когда он пришел, духовное зло над Россией уже было совершено.

— Я не знаю, верно ли все то, что вы говорите, но во всяком случае это не лишено прелести парадокса. Впрочем, Россия ведь действительно страна загадок и странностей. Главное — как кончится эта война? В немецких газетах пишут о возможности русской революции. Вы верите в нее?

— В революцию? Многие ее желают. Мы народ вялый, но глубоко разрушительный, в нас есть детская любовь к огню. Если б революция пришла, то Бог знает чем бы она кончилась. Главное, вы правы: как кончится война? Этого никто не может сейчас предсказать и предвидеть. — Тухачевский лег на койку, спокойно растянул длинное худое тело. — Вот вчера мы, русские офицеры, пили здоровье нашего императора. А может быть, этот завтрак даже был поминальный. — Помолчав, Тухачевский вдруг прибавил небрежно, вполголоса: — Наш император — дурак. И многим офицерам надоел нынешний режим. Об этом шли разговоры уж в 15-м году на фронте. Давно чувствуется, что при дворе бродит измена. Артиллеристы, например, говорили, что хотят конституционной монархии. Ну а пехота, может быть, захочет и чего-нибудь покрупнее.

— А вы?

— Я считаю, что конституционный режим был бы концом России, — потягиваясь, проговорил Тухачевский, нам нужен деспот. Мы варвары по существу. Представляете вы себе всеобщее избирательное право среди наших мужиков? Какая чушь! — внезапно захохотал Тухачевский.

Помолчали. И снова в камере крепости заговорили пленные, француз и русский. О чем только не говорили, не спорили: о христианстве, войне, России, искусстве, политике, о Бетховене, литературе, о «русской душе», о Боге, о русской интеллигенции. За разносторонность интересов Тухачевского французы даже переделали в Тушатусского (от *touh-ce-â-tout*).

— Евреи? — насмешливо говорил Тухачевский, — евреи принесли в мир христианство. Этого уже достаточно, чтоб я их ненавидел. И потом, евреи — низшая раса. Я говорю об опасностях, которые они могут принести. Вы — француз, для которого равенство — догмат, не можете этого понять. Это именно евреи сеют везде своих опасных блох, стараясь привить нам заразу цивилизации, давая всем свою мораль денег — мораль капитала.

— А, понимаю! Вы против капитала?? — захохотал, перебивая, Фервак. — Вы — русский социалист?

— Какая у вас потребность в классификации, — смеялся и Тухачевский, — но, во-первых, все великие социалисты — евреи, и социалистическая доктрина, собственно говоря, — ветвь всемирного христианства. Мне же малоинтересно, как будет поделена меж крестьянами земля и как будут работать рабочие на фабриках. Царство справедливости не для меня. Мои предки, варвары, жили общиной, но у них были ведущие их вожди. Если хотите — вот философская концепция. Евреев же, социалистов и христиан я ненавижу всех вместе. Между мной и евреями к тому ж есть большая разница. Евреи в большинстве любят силу денег, а я деньги — презираю.

— Но позвольте, мсье Мишель, — горячился Фервак, — ведь вся ваша варварская концепция может войти в жизнь, только если в России произойдет революция. Не правда ли? Так?

— Почти что так.

— Но если таковая произойдет, то во главе русской революции, вероятно, станут социалисты, то есть и евреи. Что ж вы будете делать?

— У нас еще нет революции. Не знаю, — засмеялся Тухачевский, — впрочем, посмотрим. Вы правы, это, вероятно, так и начнется, но выдержат ли наши евреи русский варварский напор и разгул? Едва ли. Не думаю. У них слишком развито «чувство меры», а мы как раз сильны противоположным, тем, что не имеем именно этого чувства. Евреи, вначале ставшие в голову революции, будут оттеснены русским напором. Чувство меры, являющееся на Западе качеством, у нас в России — крупнейший недостаток. Нам нужны отчаянная богатырская сила, восточная хитрость и варварское дыхание Петра Великого. Поэтому к нам больше всего подходит одеяние деспотизма. Латинская и греческая культура — какая это гадость! Я считаю Ренессанс наравне с христианством одним из несчастий человечества. Американцы стояли бы выше вас, европейцев, если бы они, в свою очередь, не соблазнились гармонией и мерой. Гармонию и меру — вот что нужно уничтожить прежде всего! Я знаю ваш Версаль только по изображениям. Но этот парк слишком вырисованный, эта изысканная, слишком геометрическая архитектура — просто ужасна! Скажите, никому из вас не приходило в голову построить, например, фабрику между дворцом и бассейнами?

— Никому, — смеялся француз.

— Жаль, очень жаль. У вас не хватает вкуса или слишком много его, что, собственно, одно и то же. В России у

себя в литературе я любил только футуризм, у нас есть поэт Маяковский. У вас бы я был, вероятно, дадаистом.

— Но позвольте, мсье Мишель, — смеялся Фервак, — вы же любите Бетховена?

— Вы правы. Люблю. Не знаю почему. Для меня даже нет произведения выше 9-й симфонии. Это странно, но в ней я чувствую что-то глубоко родное нам, наше, мое.

Тухачевский в лагере из причуды купил за 500 марок скрипку, начал учиться, но ничего не вышло; и в злобе, что не может исторгнуть у скрипки «бетховенского звука», бросил инструмент под кровать, предоставив ему плесневеть вместе со старыми сапогами.

Революция 1917 года грянула как гром с голубого неба. Тухачевский взволновался. С жадностью набрасывался на газеты; маниакальная мысль о побеге вонзалась теперь с такой остротой, что даже Фервак не узнавал необычайно молчаливого сотоварища. Только за чтением газет не выдерживал Тухачевский.

— Вы смотрите, смотрите, какие страшные, великие ошибки делает этот социалист Керенский, — вскрикивал Тухачевский, отбрасывая газеты, — он не понимает ни нашего народа, ни судьбы нашей страны! В то время когда нужен террор и безоглядная наполеоновская сила, он делает все обратное! Вы почитайте его речи! — возмущался Тухачевский, — это ваши демократические куплеты! Он отменяет смертную казнь и стоит за созыв Учредительного собрания! Да разве этим можно помочь стране и именно нашу страну вывести на настоящую государственную дорогу? Нет, мы, русские, никогда, никогда не должны останавливаться на полдороге. Когда катишься вниз, лучше докатиться до самого дна пропасти, а там, может быть, и найдется тропка, которая выведет тебя куда-нибудь, если не сломаешь себе кости.

А события русской революции развивались с поспешностью грозы; колебля мир, революция уже бушевала изо всех сил. Надменный, угрюмый Тухачевский крутил в одиноких, одиночных прогулках по форту, лихорадочно-тщательно обдумывал план побега. Революция может исправить все, ведь открылись небывалые, наполеоновские просторы! Керенский пробует наступление! Побег сейчас это — последняя карта всей колоды. Он опоздал к войне, и если опоздает к революции, — жизнь может быть кончена.

«На верху» форта кружившего с опущенной головой Тухачевского остановил пленный прапорщик Цуриков. Тухачевский показался Цурикову в «мечтательном состоянии».

— Ничего не получали из России? Не знаете, что у вас в деревне сейчас?

— В деревне? — удивился, словно приходя в себя, Тухачевский. — Не знаю. Рубят там, наверное, наши липовые аллеи. — И добавил с улыбкой: — Очевидно, так надо. — И дальше по форту закружил тонкий, с мальчишеским лицом, оборванный красивый двадцатичетырехлетний поручик.

Вечером Фервак с Тухачевским читали по-французски Достоевского, которого Тухачевский любил и за чтением которого часто загорался. И сегодня, когда дошли до мест панславизма, Тухачевский вдруг воскликнул;

— Вот, именно, Фервак! Только вы этого не поймете! Разве важно, осуществим ли мы наш идеал пропагандой или оружием? Его надо осуществить, — и это главное. Задача России сейчас должна заключаться в том, чтобы ликвидировать все: отжившее искусство, устаревшие идеи, мораль, всю эту старую культуру!

— Но ведь кроме всего есть еще честь.

— Честь? — как бы удивился Тухачевский и пожал плечами. — Да, честь, конечно, есть. Но если б наступающий сейчас на Керенского Ленин был бы способен освободить Россию от всех старых предрассудков и деевропеизировать ее, так я пошел бы за ним.

Это было выговорено впервые. Лейтенант республиканской французской армии был поражен. А Тухачевский возбужденно говорил дальше:

— Нужно только одно: чтобы он снес до основания и сознательно отбросил нас в варварское состояние. Какой это чистый источник! При помощи марксистских формул, смешанных с вашими демократическими куплетами, ведь можно поднять весь мир! Право народов на самоопределение! Вот волшебный клад, который отворяет России двери на Восток и запирает их для Англии.

— Но на Западе он лишает вас Польши, Финляндии, а может быть, и еще чего-нибудь?

— Вот тут-то и привходят марксистские формулы. Революционная Россия, проповедница борьбы классов, распространяет свои границы далеко за пределы, очерченные договорами. Но нам для этого необходима новая религия, и между марксизмом и христианством я выбираю марксизм. С красным знаменем по Европе! Да вы понимаете, что это такое? — возбужденно, с горящими глазами проговорил Тухачевский, откидывая Достоевского.

Он, конечно, не думал, что через три года поведет русские войска с красным знаменем на Варшаву, на Европу.

Он только верил в «свою звезду», ушедшую было за тучи на небе войны и долженствующую выплыть в буре революции.

— Но ведь формулы Ленина будут означать поражение и сепаратный мир. — проговорил Фервак,

— Для нас это безразлично, — сделал неопределенный жест Тухачевский, — ваша победа нас в такой же мере ампутирует, как и ваше поражение. Англичане во всяком случае преграждают нам путь и в Азии, и в Европе. Но они не смогут остановить идеи самоопределения народов. А если нужно, то тут мы сможем воевать против них.

— Черт знает, вы шутите, мсье Мишель, что за мечты? — захохотал вдруг Фервак, глядя на возбужденного Тухачевского.

Тухачевский остановился, потом рассмеялся смехом, в котором были зараз и ирония, и отчаяние.

— Ну, конечно же, шучу! — сказал и поставил Достоевского на полку.

Мечты о победе стали манией, болезнью. Тухачевский становился все неразговорчивей, углубленней; только на прогулках все чаще видели его худую, в обмотках, несмотря на оборванность, элегантную фигуру, в маниакальном состоянии кружившуюся по форту. Глядя на нее из окна, Фервак думал: «Он легко бы нашел работу в историческом фильме, ни один человек в мире не мог бы, если не считать роста, так хорошо изображать великого корсиканца, как этот парадоксальный поручик со вкусом к истории».

В математическом и вдохновенном обдумывании пятого побега Тухачевского сбил французский офицер Ломбар, на глазах стражи свертотчаянно бежал отважный француз, приведя побегом в восторг даже немецкого коменданта.

Ломбар переполнил чашу терпения Тухачевского, — бежать, как угодно, во что бы то ни стало, в Россию, где бушует ломка старого, где уж «пальнули пулей в святую Русь», — только об этом думал, кружась «на верху» форта, Тухачевский.

В надежде побега хватался за все. От вернувшегося из крепостной тюрьмы француза услышал: в тюрьме контрабандист с швейцарской границы. Тухачевский рискнул попробовать фантастическое дело — попасть в тюрьму, связаться с контрабандистом и с ним бежать.

Неважно владея немецким, пошел к прапорщику Цурикову, прося написать рапорт коменданту крепости, что один из фортовых унтер-офицеров во время обыска украл вещь Тухачевского.

— Только пишите, пожалуйста, так, — просил Тухачевский, — чтоб я обязательно попал в тюрьму месяца на два.

— Зачем?

— Мне это нужно.

И Тухачевский попал под арест, но связаться со швейцарским контрабандистом не удалось. Потеряв время, ни с чем выйдя из тюрьмы, лихорадочно обдумывал уже новый план.

Но после Ломбара на открытый побег Тухачевский не решался; он прибегнул к хитрости: комендатура разрешала прогулки вне лагеря, если пленный давал подписку, скрепленную честным словом; этим пользовались англичане и не бегали. Французы и Тухачевский отказывались от подписки.

Но что такое «честное слово»? Перед карьерой, побегом, свободой, жизнью? Ткачев, предтеча Ленина, считал честное слово понятием, предназначенным специально для того, чтобы нарушать его перед дураками.

Да и французский генерал Бонапарт, чью биографию так хорошо знал Тухачевский, говаривал Талейрану: «Подлость? Э-э, не все ли равно! Ведь, в сущности, нет ничего на свете ни благородного, ни подлого, у меня в характере есть все, что нужно, чтобы укреплять мою власть и обманывать всех, кому кажется, будто бы они знают меня. Говорю откровенно — я подл, в корне подл, *je suis lâche, essentiellement lâche*; даю вам слово, я не испытал бы никакого отвращения к тому, что свет называет «бесчестным поступком».

План был готов: бежит с прогулки куда глаза глядят, в леса, пробирается к швейцарской границе, а оттуда уж — в огненную, расплавленную Россию.

«Для компании» уговорил бежать полковника Черновецкого. Фервак только улыбался, не верил, «слишком восточный план». Но все уже было решено. С полковником Черновецким назначили день — субботу. Фервак дал штатский костюм, Тухачевский надел его под военное; документов никаких, ничего, кроме небольшого запаса провизии по карманам.

В душный день, когда на небе не было ни облачка, из окна крепости Фервак смотрел, как конвойные выводили на прогулку пленных и как медленно начала удаляться к крепостным воротам фигура бредившего историей парадоксального поручика. Кроме Фервака да Черновецкого, шедшего рядом с Тухачевским, никто не знал, что под военным надето штатское и сопровождающий фельдфебель, может быть, через четверть часа разрядит обойму в спину бегущего из Баварии в Россию Тухачевского.

Партия пленных шла к лесу. Тухачевский волновался: какую дорогу возьмет сопровождающий фельдфебель? Но шло хорошо. С Черновецким переглянулись, стали держаться на расстоянии. Фельдфебель, покуривая трубку, полагаясь на «честное слово», шел, не обращая внимания на офицеров.

Но у леса две фигуры бросились в кусты. Фельдфебель растерялся: оставить всех, может быть, бросятся даже англичане? Сопровождающий ландштурмист кинулся в чащу за пленными, раздалась разносимые эхом выстрелы. Выхватив револьвер, фельдфебель повернул пленных назад к крепости.

Через четверть часа из леса вылез и ландштурмист; а из ворот крепости уж неслась погоня, верховые по дорогам, пешие с собаками по лесам. Нашли шинель Тухачевского, в ней кусок хлеба. Дальше — сброшенная военная форма, в карманах ничего.

Наступила ночь, шел дождь; в комендатуре звонил по всем направлениям телефон; но погоня вернулась ни с чем.

Пленные долго не ложились; спорили о шансах побега и допустимости с точки зрения чести бежать, дав честное слово. Англичане считали это неслыханным неджентльменством; русские во мнениях раскололись; французы, не одобряя нарушения слова, одобряли отчаянность гвардейского скифа.

Через три дня в крепость привели пойманного изголодавшегося, избитого, мрачного полковника Черновецкого. Его спрашивали о Тухачевском, но он ничего не смог сказать — разбежались в разные стороны.

— Видел раз вечером какого-то человека, прятавшегося в зарослях у реки, может быть, и он, да подойти, окликнуть боялся... — говорил Черновецкий.

Думали-гадали пленные о судьбе Тухачевского: ушел или не ушел? Через месяц почта принесла цюрихскую газету, где на последней странице стояла петитная заметка: «На швейцарской границе Тироля найден труп, очевидно военнопленного, умершего от голода и холода, при умершем никаких бумаг не обнаружено».

Пленным стало ясно, как окончил жизнь странный гвардии поручик, любивший Бетховена, ненавидевший Европу и веривший в «свою звезду».

Погоревали в Ингольштадте. А через три года, сидя уже по домам, узнали, что любитель Бетховена жив, но он уж не гвардии поручик, а красный маршал, ведущий русскую Красную Армию ошеломляющим ударом на Европу, «чтоб перекроить ее карту».

ТУХАЧЕВСКИЙ В ПЕТРОГРАДЕ

Из Швейцарии в Петроград, в столицу революции, Тухачевский въехал в момент полного развала. Это был конец 1917 года, драматичнейший этап революции перед созывом Учредительного собрания.

Железнодорожные впечатления уже показали гвардии поручику, в какой температуре лежит страна. С фронтов самотеком «резали винта с липой», развалом, разгулом ехали войска. Деревня зажгла помещичьи имения, дав русской равнине картину костра. «Крути, Гаврила!» Задыхаясь, плыли по России поезда, а на буферах, на крышах, в шинелях нараспашку, без поясов, с кумачовыми бантами, сидят, стреляют солдаты от счастья свободы; с немцем сами заключили мир повзводно и поротно.

На вокзале в Белоострове Тухачевский попробовал окликнуть фронтовиков:

— Зачем стреляете? Зря патроны тратите!

Но солдат с буфера, с лицом деревянно-выразительным, потряс в сторону будущего красного маршала винтовкой, и если б знали фронтовики, что в горчичных обмотках и драной военной шинели, из-под которой виднелся штатский костюм, едет лейб-гвардии поручик, разорвали б самосудом так же, как разрывали многих.

Петроград отражал страну полностью. Это хаос одной из кровавейших революций, сначала считавшейся бескровной. В Смольном, в «Красной комнате» классных дам уже заседал Совнарком, из кабинета Ленина, комнаты № 75, в страну летели лозунги и декреты; перед матросами, солдатами, рабочими, бурно приветствуемый, на арене цирка «Модерн» выступал Владимир Ленин: одни аплодировали, другие хохотали, а случайно зашедшие дрожали, как от мороза.

Керенский уже свергнут. В Петрограде разбиты царские погреба, замертво опиваются французским вином те, чью «кровь пили триста лет». Напиться раз в жизни, как следует, это тоже хорошо! У правительства нет сил остановить даже эту «ренсковую» революцию. А любимый Тухачевским поэт Маяковский орет на концертах перед солдатами, предлагая «перемыть мир». Автомобиль Ленина, летящий из манежа, изрешечен винтовочными пулями. Говорят — покушение, но никто точно не знает. Петроград кипит так, что даже сам Ленин признает: «Тут делается черт знает что!»

Никто не понимает, чего же хочет в 1917 году Россия? Она хочет всего! Вот чего! Страна кроваво отвалила от

старого берега и пошла в ледоходе трехсотлетней мести, ненависти, бессилия, испуга и разнузданности авантюры.

В этот котел октябрьской революции, где сплелись пьяные погромы с беспочвием идеализма, лозунги классовой ненависти с попытками белых заговоров, куда съехались несметные авантюристы, желающие наганами и маузерами исправлять русскую историю, в этот Петроград из Швейцарии приехал и поручик Тухачевский.

С вокзала ехать Тухачевскому было некуда; он приехал к России; поехал прямо в Семеновские казармы, в полк. Свиданье с засыпанным дамскими цветами при объявлении войны родным полком было — странным. В полку почти нет офицеров. После попытки восстания генерала Корнилова поголовно взяты под подозренье; одни «смылись» из Петрограда, другие не приходят в казармы. Власть у полкового солдатского комитета, но и она в сорокаградусной температуре петроградских страстей исчезает.

Все идет, как хочет революция.

И все же Петровская бригада, сыгравшая решающую роль в феврале, сейчас не с большевиками. Больше того — за Учредительное собрание и против большевиков. Здесь эсеры издают еще солдатскую газету «Серая шинель», в ней карикатуры на красногвардейцев, на Ленина, на «запломбированный вагон», «Серая шинель» читается с бурным успехом; Петровская бригада остановилась на феврале и в октябрь не идет.

Сломать контрреволюционность семеновцев, уже при Тухачевском, прибыл в казармы сам товарищ Абрам, прапорщик Крыленко, коммунистический верховный главнокомандующий. Теперь Крыленко у Сталина генерал-прокурор Республики, он знаменит, каждое его выступление в ревтрибуналах — кровь, его имя — одно из самых ненавистных, у него в Москве на Спиридоновской особняк, охраняемый ГПУ и обнесенный высоко колючей проволокой. Известен факт, как, страстный охотник на волков и медведей, генерал-прокурор избил арапником неумелого мужика-обкладчика, упустившего зверя.

Но тогда были иные ветры и время; сам Крыленко бы, вероятно, не поверил в свою позднейшую страсть к медвежьим охотам. По приказу коммунистического главнокомандующего было созвано полковое собрание семеновцев. Медленно серой толпой шли, сходились солдаты. Хмурые. Собранья по приказу хоть и не генерала, а будили злобу. В толпе перекидывались прибаутками, ядовитыми шутками: «Хочет застращать!», «Командующий!»

Тухачевский сидел на окне с членами полкового комитета. Крыленко встал на дощатой, обвитой кумачом трибуне — крепкий, с голым, белым, бритым черепом, лицо, оставленное последней чертой мягкости, квадратный подбородок. Стоял, упершись, выжидая, когда наполненный зал утихнет.

— Не мешало бы этого парня пришибить!

— Уж больно на трибуне задается!

— Товарищи! — вдруг заговорил будущий генерал-прокурор Республики. — Я приехал к вам побеседовать от имени рабоче-крестьянского правительства...

Из первого ряда рыжий семеновец с места крикнул:

— Какое такое правительство?! Долой его!

Крыленко на рыжего и не взглянул.

— То, которое озабочено, — закричал, наклоняясь с трибуны, настроениями, царящими в Семеновском полку! Мы осведомлены, что гидра контрреволюции свила гнездо в этих казармах...

— Сам ты гидра! Буржуй! Долой! — заревел зал.

Тухачевский глядел на Крыленко; крепко стоял товарищ Абрам в бушующем море солдатской вольницы: пообвык, попривык не к таким бурям верховный главнокомандующий, ведь недавно на глазах его только что самосудом разорвали солдаты на части начальника штаба ставки генерала Духонина.

— Семеновцы! — повысил голос Крыленко, наливая напряжением скуластое упорное лицо. — Я приехал к вам говорить о так называемом Учредительном собрании! Буржуазная и контрреволюционная часть его решила свергнуть Советское правительство!

И вдруг с конца зала ураганом поднялось:

— Да здравствует Учредительное собрание! Долой большевиков! — зал подхватил вокруг Тухачевского крики. А Крыленко, словно пойдя в атаку, широко разевая рот, кричал в шуме зала:

— Именем Советского правительства предупреждаю, семеновцы! Если осмелитесь не повиноваться, будете безжалостно и жестоко наказаны.

Бешеный стоял рев зала:

— Мы тебе не Духонин! Отмойся! Руки коротки! С семеновцами так не разделаешься! Довольно! — И понесся соловьиный, в три пальца, свист.

Быстро Крыленко сошел с эстрады и, подойдя к членам полкового комитета, где сидел Тухачевский, бросил озлобленно:

— Если что-нибудь произойдет и семеновцы осмелятся выступить, с нами шутки плохи, перед нами будете лично за все отвечать! — И под улюлюканье солдат Крыленко вышел.

В российском конвенте — Совете рабочих и солдатских депутатов — Тухачевский слушал многих ораторов, но Крыленко был первым понравившимся. Понравился перед солдатами Крыленкин тон.

В день созыва Всероссийского Учредительного собрания, о котором полвека мечтали русские революционеры, зал Таврического дворца напоминал камеру уголовной тюрьмы. Дворец был заполнен революционным народом: густо висела площадная матерная брань; по залам с пулеметными лентами крест-накрест, увешанные гранатами и наганями, ходили пьяные матросы и солдаты в заломленных набекрень папахах, лузгали, поплеывая, семечки; стучали прикладами винтовок об пол. Революционный народ был нетрезв: в буфете, перегруженные алкоголем, облегчались, бляя на пол; уставшие спали, раскинув ноги, на мягких креслах и диванах стиля Империи.

В главном зале, среди публики, в рваной шинели, похожий на солдата, если б не породистое тонкое лицо, ходил Михаил Тухачевский. Слышал, как ветвистой, цветистой речью открыл заседание ВУС председатель его Виктор Чернов и прервал под матросской матерщиной. За ним на трибуну взошел хрупко-красивый Церетели, трагически изстрадавший царскую каторгу, и под наведенными на него винтовками пьяных матросов заговорил о мечте русского народа, об Учредительном собрании. А наверху в одной из лож положил лысую блестящую круглую голову на руки, на барьер, Ленин. И нельзя было разобрать, спит он или слушает.

Тухачевский не революционер; он не мог им быть по всему складу души. Тухачевский — профессиональный солдат; но не кондотьер и не солдат по присяге. Тухачевский солдат с собственным умом, собственной храбростью, собственным вкусом к истории. Из такого теста выпекались Бонапарты, Бернадотты, Неи, Даву, Пишегрю.

Я не знаю, о чем он думал, присутствуя при трагизме живой русской истории. Хотелось ли ему, как Бонапарту, поставить если не пушку, то пулемет, чтобы выпустить ленту в эту пьяную гранатную сволочь? Или думал только о мании, о головокружительной карьере, срок чему, кажется, пришел? Учредительного собрания, смерти которого от малокровия выжидал Ленин, Тухачевский не жалел во всяком случае.

Оно умерло, когда вышедшему из темноты российских деревень начальнику большевистского караула матросу Железняку от бессонных ночей захотелось спать. Он сделал Ленину дело. Не сдерживая зевоты, брякая прикладом об пол, матрос подошел к председателю Виктору Чернову и попросил «скорей кончать лавочку». И председатель закрыл беспрекословно. Это была жирная точка в русской истории,

Отсюда началась Советская Россия. И карьера Михаила Тухачевского, та самая, о которой так страстно мечталось с 15 лет. «Революция мне пришла по душе, и равенство, которое должно было меня возвысить, соблазняло меня», — говорил Наполеон.

Выходя из Таврического дворца, глядя, словно в пустоту, в площадь, заполненную красногвардейцами, автомобилями, мотоциклами, кричавшую на разных голосах, подымавшую на руки ораторов, Тухачевский не знал, собственно, куда идти. На последних ступенях лестницы кто-то схватил за руку и с криком «Миша!» сжал в объятиях.

Это радостная и необычайная встреча, единственный в жизни друг еще по кадетскому корпусу, Николай Кулябко, тот, с которым ставили домашние спектакли и прикармливали поэтов из «Центрифуги», приятель по похождениям и происшествиям. Но теперь Кулябко с красным бантом на груди и повязкой ВЦИКа. Это темпераментный и авантюрный человек с любовью к приключениям без границ.

Первые слова встречи были несвязны; Кулябко рассказывал сумбурно, путано, но конец ясен — Кулябко уж большевик, в партии и даже попал в члены ВЦИКа: работы по горло, но вот именно по военной части у «Красной комнаты» Смольного страшная нехватка, вот именно «такие, как ты, большевикам нужны до зарезу!».

Как пружинный трамплин для дальнего прыжка попался Кулябко Тухачевскому. Чего лучше: друг, член ВЦИКа, говорит, что возьмут с руками и ногами.

В ближайшие же дни Кулябко повез Тухачевского в гнездо большевизма — в Смольный. В первой комнате Смольного Тухачевского поразила вышедшая красивая девушка с громадной трубкой в зубах; она говорила, словно торопясь на поезд.

— Д-да, тут, кажется, не уговаривают, — смеялся Тухачевский, идя мрачными коридорами института благородных девиц.

Когда они вошли в другую комнату, Тухачевскому представилось зрелище странное: в большой разделенной сдвинутой стеклянной дверью зале в одной половине вокруг

Якова Свердлова стояло несколько вооруженных кавказцев в черкесках, бурках, папахах, шел спор, почти крик, а в другой половине, сидя на столе, заплетая волосы, хорошенькая еврейка пела «Очи черные».

Это — не Учредительное собрание и «традиции русской интеллигенции». Тут вся история начинается сызнова, тут голая жизнь голых людей, духовных беспортошников. И тут та самая, овладевающая революциями «*activité vitale*», из которой вырастают, если хотите, необходимые поручику лейб-гвардии деспотизмы.

— Сейчас, сейчас, товарищ Кулябко, — отмахивался Свердлов, которого тянул друг Тухачевского. Тухачевский стоял в отдалении у двери. — Да говорите же скорей, в чем дело? Ваш друг? Куда? Так это не ко мне, идите к товарищу Антонову.

Они вышли к Антонову, который с красногвардейцами и матросами с «Авроры» в октябре взял штурмом Зимний дворец.

После слов Кулябко Тухачевский, вытянувшись по-военному, ошаршил рапортом щуплого глубоко штатского Антонова:

— Гвардии поручик Тухачевский бежал из германского плена, чтобы встать в ряды русской революции!

И вскоре одновременно с правительством Тухачевский переехал в Москву. В апреле 1918 года, не успев толком подчитать «марксистские формулы», уж вступил в РКП (б) и в военном отделе ВЦИКа занял должность инспектора формирования Красной Армии, через несколько месяцев сменив ее на ответственный пост военного комиссара важнейшего Московского района.

Тронулся лед. Еще сидели в Ингольштадте пленные офицеры, а тут уж началась отчаянная карьера. Поплыл Михаил Тухачевский по неожиданным кровавым порогам и полыньям вместе с Россией.

МУРАВЬЕВ И ТУХАЧЕВСКИЙ

В 1848 году в огне европейских революций русский беглец, бунтарь Михаил Бакунин прилагал немалые силы, чтоб зажечь мировой пожар с «богемским началом», Богемию считал бикфордовым шнуром взрыва, после которого, по плану Бакунина, должна была организоваться революционная диктатура, во многом предвосхитившая Советы.

В частности, Бакунин понимал, что не «Freischaren», а регулярное красное войско должно создать сразу по захвате власти, и формировать его предполагал с помощью «старых польских офицеров, отставных австрийских солдат и унтер-офицеров, возвышенных по способностям и рвению».

Ленин по-бакунински собственноручно заложил основание Красной Армии; это было во времена Смольного, когда все вершилось в ленинском кабинете. «Freischaren», красная гвардия, уже тогда не удовлетворяла Ленина. Но, по признанию военного комиссара Украины Затонского, все, «не исключая военки», в Смольном не знали, как подойти к делу закладки армии.

В начале января 1918 года в «Красной комнате» Смольного монастыря Ленин сказал, что не закроет заседания, пока не будет принят декрет о Красной Армии. При молчании присутствующих Ленин взял перо и начал выправлять, вычеркивать, изменять редакцию в заготовленном проекте. Закладка армии заняла час. Декрет был принят без голосования. Послушная «военка» по должностям поочередно подписывала: Крыленко, Дыбенко, Подвойский. Но, прищуря хитрый глаз и выдавив монгольскую скулу, Ленин проговорил;

— Передайте-ка на тот конец стола, пусть и Затонский подпишет, на случай, чтоб Украина потом не отпиралась.

Украина не сопротивлялась Ленину так же, как и Великобритания. Покрытый подписями декрет секретарь Горбунов потащил на телеграф, и декрет вошел в жизнь страны, родив Красную Армию, являющуюся сейчас одной из сильных и организованных армий в мире.

По рецепту Ленина, военачальников «военка» собирала с бору и с сосенки: «Ничего страшного нет! Втягивайте хорошенько их в работу. Чем лучше они обучат наших рабочих стрелять, тем безопаснее будут для нашего дела».

И все же не из числа царских генералов, полковников, пошедших к большевикам за страх и за совесть, родились ставшие теперь во главе армии красные маршалы. Российские Пишегрю, Ожеро, Неи, Мармоны, Даву, Дюроки испеклись из того же «французского» теста. Наполеонистые поручики, обойденные прапорщики, ухватистые унтер-офицеры, авантюристические портные, вовремя не награжденные капитаны, самородки-головорезы и моншеры с сильной уголовиной, вот откуда вышла головка теперешней Красной Армии.

Всемирно (без иронии) известный царский вахмистр приморско-драгунского полка Семен Буденный, российский

Мюрат, на 15-м году революции иногда по привычке осеняющий себя крестным знаменьем; Тухачевский и Блюхер, Ворошилов и Егоров, Якир и Уборевич, Шорин и Славин, Щаденко и Гай, убитые Чапаев и Котовский.

Эти карьеры складывались не быстро. Но на «красном поле» авантюр 1918 года Тухачевский выдвинулся умом, талантом, тактом, административным дарованием, партийным билетом, умением приказывать и был сразу замечен Львом Троцким.

Инспектор формирования, военный комиссар важнейшего Московского района, а в мае 1918 года, когда восстали в Поволжье чехи, Тухачевский вылетел на Волгу уже командующим 1-й красной армией.

Это Тулон Бонапарта, боевое начало карьеры в гражданской войне.

В Пензу, отбивать родной город от чехов, Тухачевский летел из Москвы с несколькими спутниками на сильной машине. Когда, гудя, пролетали над Чембарским уездом, велел спуститься у своего родового имения, захотел посмотреть на родные липы.

Стальной мухой в майской голубой вышине над соломенным селом начал кружиться самолет. Из изб выбегали мужики, бабы, глядя вверх на невиданную сроду муху. А муха все снижалась, снижалась, выбирая на просторном черноземе место спуска. И вот уж, гудя пропеллером, как пчела, совсем низко пошел над полем самолет и, подпрыгнув, пробежал несколько к толпе мужиков, встал, как гигантская птица. И враз бабы, ребятишки, мужики узнали, кто прилетел в диковинной птице.

— Батюшка, Михаил Николаевич... батюшка, барин...

Замерло село, снопами сдуру повалились мужики в ноги. Уж не с наказанием ли каким прилетел барин с таким дребезгом. Виноваты, конечно, побаловались мужики, даже вовсе без надобности в парке порубили липки, березки, растащили сарай, скотный двор.

Но ведь Михаил-то Николаевич — их же, оказался, рабоче-крестьянский вождь, товарищ Тухачевский, летит спасти народ от чужеземного ига. Стали об этом мужикам говорить, разъяснять спутники командарма. Дакали мужики, а так и не поверили. «Барин — демон, барин вывернется».

Пошутил с мужиками Тухачевский, прошел с спутниками в усадьбу, походил по саду, поглядел на изрезанные вензелями — «Надя любит Колю», «М.Т.» и герб — березы, пошуршал прошлогодней гнилой листвой с деревьев и, закусив яйцами, молоком да пахучим ситником, через пол-

часа же вылетел дальше на Пензу, сражаться с Ярославом Индрой и Вячеславом Фундачеком, предводителями чешских легионов.

Трудно пришлось Тухачевскому под Пензой и под Сызранью. Вместе с чехами поднялись белые, «Народная армия» Комитета Учредительного собрания, там капитан, будущий генерал, Каппель, бывший офицер эсер Лебедев, террорист Савинков, они развертывают наступление от Самары, тесня красных.

Но у двадцатипятилетнего командарма сил и энергии не занимать стать; объявил призыв офицеров, уничтожает красный хаос, партизанщину, грабежи, разбойни, пишет воззвания, мешая советский стиль со стилем Петра Великого:

«Товарищи!

Наша цель — возможно скорее отнять у чехословаков и контрреволюционеров сообщение с Сибирью и хлебными областями. Для этого необходимо теперь же скорее продвигаться вперед. Необходимо наступать! Всякое промедление смерти подобно!

Самое строгое и неукоснительное исполнение приказов начальников в боевой обстановке без обсуждений того, нужен ли он или не нужен, является первым и необходимым условием нашей победы!

Не бойтесь, товарищи! Рабоче-крестьянская власть следит за всеми шагами ваших начальников, и первый же их необдуманный приказ повлечет за собой суровое наказание!

Командарм-1 Тухачевский».

Теперешняя правая рука Сталина, сановник Валерьян Куйбышев, тогдашний комиссар 1-й армии, слал в Кремль блестящие аттестации командарма Тухачевского, с холодным расчетом и огненной страстью сопротивлявшегося наступающим чехам.

Но Тухачевскому мало сопротивления, он вырвал у белых инициативу боев; 9 июля тяжелыми боями взял Сызрань и Бугульму; это уже перелом настроения фронта, но сам Тухачевский своим успехам и не удивлялся, это так должно быть, он знал об этом с 15 лет.

Без тени скромности Тухачевский писал о себе: «Можно смело сказать, что 1-я армия положила основание маневру в Красной Армии. Она первая из армий научилась делать громадные и быстрые переходы».

В экстренном поезде после первых побед Тухачевский прибыл на Волгу, в Симбирск, чтобы ждать здесь главнокомандующего всеми красными силами А. Н. Муравьева и

отсюда вести новую дальнейшую борьбу с армией Учредительного собрания и чехами.

Но на Волге, в Симбирске, на горе, в провинциальной тиши, в этот жаркий июль Тухачевского стерегла жестокая авантюра, в которой еле-еле ушел командарм от неразборчивой матросской пули.

Главкомандующий всеми красными войсками, бывший гвардии полковник А. Н. Муравьев гремел уже на всю Россию, когда Тухачевского еще не знали. Это была действительно гремящая карьера. Биографию Наполеона Муравьев тоже знал, но не был человеком бонапартской складки. Эти военачальники эпохи гражданской войны, Муравьев и Тухачевский, были разны во всем, даже в наружности и в жажде славы.

«Красавец брюнет с бронзовым цветом лица и черными пламенными глазами», гвардии полковник Муравьев любил все то, чего не любил Тухачевский: малиновые чикчиры с серебром, лихую венгерку, шампанское и женщин. Авантюрист крупной марки, в кровавой буре России Муравьев играл последнее баккара: увлекши раскаченные банды фронтовых солдат, он предложил свою шпагу Кремлю в октябре.

Под Гатчиной он «победил» Керенского и Краснова; из Киева выбил Украинскую раду и чувствовал себя Степаном Разиным, когда банды разносили грабежом город и в несколько дней расстреляли около 2000 мирно живших в Киеве офицеров.

До войны светский гвардии полковник Муравьев в фешенебельном ресторане появлялся под руку с негритянкой, публично запаивая ее шампанским. Теперь Муравьев запаивал революцию, появившись под руку с ней. Большой манией величия и преследования человек — главнокомандующий красными войсками мстил всем.

После киевского террора Кремль бросил Муравьева против румын. В развале румынского фронта Муравьев встал главнокомандующим и там, кое-как собрав банды, назвал их громко «Особой армией по борьбе с румынской олигархией». Все громкое и необыкновенное любил Муравьев. С митинга на митинг со свитой в необыкновенных формах скакал гвардии полковник, произносил невероятные речи о Пугачеве, Разине, о том, что «сожжет Европу».

Он разрешал бандам грабить и мародерствовать, но, ругаясь матерно, приказывал наступать и на румын: «Моя доблестная Первая армия мрет под Рыбницей, а вы, преда-

тели, не наступайте на Бендеры!» — кричал на митингах Муравьев.

И пьяная от румынской водки и всероссийского грабежа банда русских солдат вместе с наемными китайцами под командой «капитана китайской службы» Сен Фуяна наступала на румын, сопротивлялась немцам; а когда, отступая, шли мимо Одессы, Муравьев отдал бандам исторический приказ: «При проходе мимо Одессы из всей имеющейся артиллерии открыть огонь по буржуазной и аристократической части города, разрушив таковую и поддержав в этом деле наш доблестный героический флот. Нерушимым оставить один прекрасный дворец пролетарского искусства — городской театр. Муравьев».

Видя нарастающую опасность в Поволжье, Кремль спешно перебросил Муравьева с юга на Волгу, в Симбирск, спасти революцию от чехов и армии Комитета Учредительного собрания.

Окруженный матросами в пулеметных лентах крест-накрест, обвешанными маузерами и гранатами, в бывшем царском поезде, с адъютантами и женщинами, двинулся в Поволжье Муравьев. Но к Симбирску подплывал уже с отрядами на пароходах по серебряной глади Волги, где 300 лет назад выплывали расписные острогрудые челны Степана Разина.

Первым плыл бывший пароход царицы «Межень», белое изящное судно с полуподводными каютами и круглыми точками оконных люков. На палубе завтракал Муравьев с телохранителями-матросами, адъютантом грузином Чудошвили и захваченными для радости жизни каскадными певицами.

За «Меженью» плыли «София», «Владимир Мономах», «Чехов», «Алатырь» с вооруженными до зубов бандитами — русскими, латышами, китайцами. Волжский воздух был свеж и располагающ к жизни.

Уж показался на горе Симбирск, оглушительный внезапный рев многочисленных сирен прорезал воздух; толпы стоявших на берегу людей повернулись в сторону пароходов; на них уж можно было разглядеть вооруженных и красные флаги на кормах.

После паденья Самары и продвиженья чехов и белых вверх по Волге красные ждали главнокомандующего Муравьева в Симбирске как единственную надежду и спасенье красной Волги.

В ожиданье главнокомандующего Тухачевский жил в поезде на вокзале. Но с первой же встречи между бывшими гвардейцами, игравшими каждый по-своему на «красном

поле», вспыхнула глухая вражда. Муравьев расспрашивал о службе; много, красно говорил о предстоящих победах; о том, как разнесет «всю Европу». Тухачевский молчал. Муравьев в малиновых чикчирах, в венгерке, с удивительной шашкой, руки в перстнях. Тухачевский подчеркнуто пролетарский, в рваной шинели. Муравьев подчеркивает, что не коммунист, а левый эсер. Тухачевский — правовернейший коммунист.

Десяти минут Муравьеву было достаточно, чтобы понять, что этот поручик играет на свою лошадь и не примкнет к задуманному здесь, на Волге, Муравьевым заговору и восстанью против Кремля.

День 10 июля был жаркий, над Симбирском облаком стояла пыль; только с Волги тянуло прохладой; в провинциальную тишину города на Соборную площадь въехали броневики, пулеметы, артиллерия, расположились у штаба главнокомандующего, у громадного здания кадетского корпуса.

Матросы, китайцы, муравьевские банды заволокли улицы, размещаясь где попало, навели на тихих симбирцев панику до полусмерти: где-то в полях за Симбирском ухали одинокие орудия.

Но как только пришла из Москвы телеграмма, что левые эсеры Андреев и Блюмкин убили германского посла графа Мирбаха и подняли восстание — Муравьев повел заговор стремительно. Первый, к кому ворвались обвешанные гранатами и маузерами матросы, был командарм Тухачевский. Его схватили на вокзале в салон-вагоне и, вытащив, «именем революции» в черном автомобиле отвезли в тюрьму, в одиночную камеру.

За Тухачевским схватили председателя симбирской организации коммунистической партии латыша Варейкиса, членов совета и губкома коммунистов Гимова, Иванова, Фельдмана, Кучуковского, Малаховского. Красный Симбирск пришел в полное замешательство.

А Муравьев ездил с митинга на митинг; в Троицкой гостинице, в кадетском корпусе, в латышском полку выступал с речами, объявляя, что война с чехами кончена, теперь будет война с Германией; китайцы кричали: «Война конец!» — и стреляли от радости в воздух.

Комиссар телеграфа коммунист-рабочий Панин под страхом расстрела слал по телеграфу приказы Муравьева, возвещая по красным бугульминскому, сызранскому, мелекесскому фронтам, что все войска снимаются и направляются совместно с чехами для войны против Германии.

Сидя в одиночной камере, Тухачевский слышал стрельбу муравьевцев; знал: с Муравьевым шутки плохи, с матросами разговоры коротки, сейчас выволокут на тюремный двор, разденут и пустят пулю в затылок.

На Соборной площади бивуаком расположились матросы, лузгают семечки, поют под гармонику «Цумбу», пьяны; заняли уже все — телефон, телеграф, кадетский корпус, тюрьму; коммунистов Тухачевского, Варейкиса, Шера, Фельдмана, Иванова, Гимова — к расстрелу.

Казалось бы, у гвардии полковника Муравьева — полная победа. Но странно, очевидцы передают, что решительный и кровавый позер А. Н. Муравьев в Симбирске действовал как бы в полной невменяемости: то отдавал приказы, то отменял, говорил бессмысленные речи, которых пьяные матросы не понимали, и провозглашал «Поволжскую республику»; муравьевцы везли из ренсковых погребов вино, водку, на улицах сгоняли девочек. Симбирск охватило безначалие. А Муравьев терял самое главное в успехе заговоров — время. В этом хаосе наносившего удар Кремлю Муравьева, казалось, совершенно оставили силы.

В полночь на Соборной площади все еще стонала гармонь, пели песни и танцевали; и только далеко и тревожно ревели сирены волжских пароходов. Муравьев забыл даже расстрелять коммунистов.

Сидевшие в одиночках Тухачевский, Варейкис, Шер, Гимов услышали в ночь в коридорах тюрьмы солдатский топот, крики и матерную брань. Стучали прикладами, кричали, шла борьба; наконец, двери камер стали ломать: но не муравьевцы-матросы, а солдаты-латыши, коммунисты Интернационального полка.

После взлома камер спавший на «Межени» Муравьев должен был считать себя побежденным. Из Кремля по всем проводам летит телеграмма Ленина: «Изменник главнокомандующий Муравьев, подкупленный англо-французскими империалистами...» В Симбирске латыши и броневики уже на стороне освобожденных коммунистов Тухачевского, Варейкиса, Гимова. Этой ночью Муравьева разбудил адъютант Чудошвили, сказал, что экстренно вызывают на заседание губисполкома в кадетский корпус «выяснить создавшуюся обстановку».

Под заседанье губисполкома в кадетском корпусе освобожденные коммунисты отвели комнату № 4, а в соседних № 3 и № 5 засели по 50 верных Кремлю латышей Интернационального полка. К двери в комнату № 4 поставили пулемет, задрапировав тряпками и досками.

— Если окажет сопротивление аресту, открывай огонь в комнату, коси направо-налево, не разбирай, кто свои, кто чужие. Сами не выйдем из схватки, а Муравьева не выпустим, — по-латышски сказал латышу-пулеметчику Варейкис.

Весь губисполком и представители армии, Тухачевский, Варейкис, Иванов, Шер, ждали Муравьева; минуты были томительны: придет иль догадается? А если догадается — с матросами окружит, даст бой и да здравствует «Поволжская республика», с маршем чехов и «Народной армии» на Москву.

Не верили, что придет; невероятным показалось даже, когда вбежал латыш Балхар, полукрикнул: «Идут!»

Муравьев сам не знал, зачем шел; и думал о западне, и не думал; идя на последний в жизни митинг, был уверен только в одном, в красноречье, которым, дурманя, водил грабежом по России красные банды. И сейчас скажет речь, после нее увешанные бомбами телохранители, клешники-матросы, схватят всех и арестуют.

Муравьев храбр и чужд холодных выкладок Тухачевского; это полубезумный, больной человек, пред которым все заволось красным туманом; может, выйдет «Поволжская республика», а может, и ни черта не выйдет.

Перед входом, у кадетского корпуса, окруженному адъютантами и свитой Муравьеву сообщили, что и Тухачевский освобожден латышами. Муравьев словно и не слышал: сейчас скажет речь и всех арестует. В малиновых чикчирах, в венгерке, красивый, стройный, вооруженный маузером, со свитой в черкесках, с шашками, револьверами, с матросами в бомбах, ручных гранатах поднимался Муравьев в третий этаж кадетского корпуса.

В коридоре увидел Варейкиса, руки не подал, спросил: — Где заседание?

Варейкис показал на комнату № 4, и быстрой гордой походкой Муравьев со свитой вошел в западню.

В комнате № 4 среди солдат Интернационального полка увидел Гимова, военного комиссара Иванова, Фельдмана, всех арестованных. Но вошел, как пьяный, в полузабытьи; не заметил даже, что за дверью за его свитой кольцом столпились латыши Интернационального полка в кожаных куртках, с наганами, винтовками; этих речью не подмочишь.

Муравьев встал посреди комнаты № 4 и заговорил с маузером в руке:

— Враги вы иль товарищи? Сейчас настал решительный час, и все дело решается оружием! На моей стороне

войска, весь фронт, в моих руках Симбирск, а завтра будет Казань! Разговаривать долго с вами не буду, извольте подчиняться.

Но в последний раз в жизни Муравьев говорил плохо; а все коммунисты заговорили вдруг необычно дерзко:

— Ты шулер, Муравьев! Изменник! Предатель революции!

Стоя среди матросов, Муравьев потемнел и кусал губу. Из соседней комнаты уже вышла вся засада, окружив заседание в комнате № 4. Пулеметчик засел за пулемет, ждет сигнала пустить сквозь дверь ленту.

Варейкис кричал:

— Мы не с тобой, Муравьев, а против тебя!

Муравьев выругался матерно, шагнул к Варейкису с маузером, но — распахнул дверь, вбежал адъютант Чудошвили, бледный, и, перебивая всех, закричал, что в коридоре его разоружили латыши и он требует сейчас же вернуть ему оружие. Поднялся шум, только Тухачевский сидел спокойно.

— Мы сейчас разберем, товарищи, разберем! — орал Варейкис.

Муравьев уже догадался, что западня. Варейкис видел, внезапно страшно побледнел Муравьев, и вдруг наступила тишина: Муравьев глядел на Варейкиса, все глядели на Муравьева. Но Муравьев храбр, с маузером в руке быстрым решительным шагом пошел к двери, проговорив:

— Я пойду успокою отряды сам!

Коммунисты замерли: для слабых заговорщиков минута психологически невыносимая. Муравьев наотмашь ударил дверь, она с грохотом распахнулась, и отпрянул: на него злобно сверкающими взглядами глядели латыши, оцетинившись штыками.

— Именем Советской Республики! — закричал, прыгнув к Муравьеву, ближайший рослый латыш, прямо в лицо наставляя наган главнокомандующему.

— Измена! — неистово закричал Муравьев и в упор выстрелил из маузера. Но это только секунда. Словно догоняя один другого, грохнули выстрелы и, страшно подвернув ноги, Муравьев с шумом упал; рука с маузером откинулась, из черной головы текла кровь.

Дорого обошлась эта измена Кремлю: весь Восточный фронт дрогнул. Зато заговор гвардии полковника Муравьева выдвинул верностью Кремлю гвардии поручика Тухачевского.

На Москве-реке у кремлевских ворот — двойные караулы, внутренние и внешние. Внутри Кремля оживление: мимо палат царя Алексея Михайловича, мимо Успенского собора, мимо Чудова монастыря пробегают кожаные куртки, идут наряды чекистов; шуршат автомобили, подвозя, развозя народных комиссаров.

Председатель Совета Оборона Ленин следит за кольцом, сжимающим Москву. Отсюда шлет приказы по фронтам, где не хватает оружия, полководцев, огнеприпасов, продовольствия, но есть еще не умершая вера масс в большевизм и во Владимира Ленина.

Вьется над Красной площадью красный флаг. Музыкальные часы на Спасской башне Кремля вызывают каждые четверть часа «Интернационал».

Под Свяжском остановился красный фронт в паническом откате после муравьевской измены. Без боя взяли белые Симбирск, Казань, грозят Нижнему Новгороду.

В Кремле, в длинной комнате со старинной люстрой и старой мебелью карельской березы, в зале заседаний Совнаркома с «амурами и психеями» на каминах висит рукописный плакат: «Курить воспрещается». Это глава красной России Ленин не выносит дыма.

Идут непрекращающиеся заседания. Тут рассеянный барин, моцартофил Чичерин, желчный еврей с язвой в желудке Троцкий, грузин, «дрянной человек с желтыми глазами»¹ Сталин, вялый русский интеллигент Рыков, инженер-купец Красин, фанатический вождь ВЧК поляк Дзержинский, бабообразный, нечистый, визгливый председатель Петрокоммуну Гришка Зиновьев и хитрейший попovich Крестинский. Председательствует Ленин, нет времени в стране, две минуты дает ораторам, многих обрывает: «Здесь вам не Смольный!»; комиссару Ногину кричит: «Ногин, не говорите глупостей!» Недаром писал поэт Клюев: «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декрете!»

Судьба революции решается на Волжском фронте, под Свяжском и Симбирском, где изменил Муравьев и стоит 1-я армия Тухачевского. По предложению Ленина на Волгу экстренно поедет председатель Реввоенсовета республики Лев Троцкий, желчный, желтый, больной, совсем не такой, каким изображают его, в шишаке и стрелецкой шинели, бравые плакаты.

¹ Выражение бывшего полпреда в Германии Н. Н. Крестинского.

Надо остановить развал красных и наступление белых; на Волге разбегаются мужики-красноармейцы куда глаза глядят, не хотят воевать, прячутся в леса. «Зеленая армия, кустарный батальон».

Даже крепчайшая опора фронта латышские полки и те дезертируют. Но Троцкий тогда еще играл не Дантона, а Робеспьера и был по горло в крови. С желчным, сутулым журналистом разговоры коротки.

4-й латышский полк не хочет сражаться, и 29 августа Лев Давидович Робеспьер из купе салон-вагона приказывает: расстрелять членов полкового комитета в присутствии полка. На берегу Волги по приказу Троцкого на глазах латышей 29 августа расстреляли трех коммунистов, членов полкового комитета, не сумевших дисциплинировать полк. Из Пермской дивизии к белым перебежали четыре офицера, и в припадке военно-канцелярского террора Троцкий требует сообщить ему местожительство офицерских семей, которые будут расстреляны, а в назидание войскам расстрелять комиссаров дивизии, старых большевиков Залуцкого и Бакаева.

Это, конечно, не храбрость, а растерянность человека, севшего не в свое кресло. Ленин и ЦК партии остановили устрашающий расстрел Залуцкого и Бакаева, зато комиссары Троцкого расстреливают через 10-го дрогнувшие полки из мобилизованных крестьян; а перед бежавшими с фронта мобилизованными казанскими татарами ставят пулеметы — расстреливая полки целиком.

«Предупреждаю, если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым командир. Мужественные, храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники, предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной Армии. Троцкий».

Над Кремлем веет красный флаг, играют музыкальные часы каждые четверть часа «Интернационал». «Приезд товарища Троцкого оздоровил наш Восточный фронт», — пишут газеты, а журналист Троцкий обвиняет в бездействии всех командиров и комиссаров — Блюхера, Эйдемана, Ладиса, Бела Куна, Мрачковского, Лашевича, Смилгу, Зофа — ставя в пример только одно «славное имя товарища Тухачевского».

Троцкий и Тухачевский прекрасно понимают, что лишнее ведро крови армии не портит и, как могут, льют ее, цементируя Восточный волжский фронт Кремля.

У дезертиров в деревнях коммунистические отряды снимают с изб крыши, конфискуют хозяйство, расстреливают

«зеленую армию, кустарный батальон». Комиссаров-коммунистов Линдова, Нахимсона, Сергеева закололи штыками красноармейцы; но все ж измена Муравьева выправлена. Восточный фронт крепнет; Тухачевский сбил лучшую 1-ю красную армию, подготовил ее в наступление.

Но 30 августа Троцкий получил телеграмму: «Ильич ранен, неизвестно, насколько опасно. Полное спокойствие. Свердлов». Не рань, а убей Фанни Каплан Ленина в момент, когда все ползло из рук Кремля, когда территория суживалась до владений Московского великого княжества и всю судьбу октября защищали под Свяжском поручики Тухачевский и Славин, — Кремль бы грузно пошел ко дну. Так говорит старый большевик Бонч-Бруевич, ближайший к Ленину в эти дни человек: «Если б случилось непоправимое несчастье с Владимиром Ильичем, все бы пропало, все бы пошло насмарку и большевистская социалистическая революция приостановилась бы потому, что мы все малоопытны в управлении страной и без В. И. несомненно наделали бы много роковых ошибок, а они повлекли бы за собой огромные неудачи, которые закончились бы общим крахом».

В день 30 августа тяжелораненый Ленин лежал на диване в палате Кремля, закрыв глаза; оттенок лба и лица был желтоватый, восковой; приоткрывая глаза, Ленин сказал:

— И зачем мучают, убивали бы сразу.

А по всей стране, в отместку за пулю Каплан, ВЧК прошла такими волнами террора, каких не видел мир; от города до захолустной деревни за Ленина убивали кого попало: бывших чиновников, интеллигентов, буржуа, офицеров, зажиточных крестьян; эта кровь говорила о судороге власти и отчаянности положения.

Чтобы спасти, разжать восточный обод белого кольца, сжимающего Кремль, в этот момент на белую Казань двинулся командарм-5 Славин, поручик, латыш-стрелок. А на Симбирск главным ударом пошел командарм-1 гвардии поручик Тухачевский.

Перед Тухачевским ответственной задачей фронта. Он, конечно, понимал ее, но все ж сделал жест Бонапарта. Беря для конвента Тулон, корсиканец предупредил свою победу: «Завтра, самое позднее послезавтра мы будем ужинать в Тулоне». Ужин — это, конечно, буржуазно. Двинувшийся на Симбирск, родину Ленина, Тухачевский телеграфировал Реввоенсовету: «Двенадцатого Симбирск будет взят».

1-я армия Тухачевского вступила в бои. Это дело большой карьеры и чести Тухачевского. В мглистую осеннюю ночь 9 сентября Тухачевскому с страшным трудом, но удалось вырвать у белых инициативу в боях на флангах у деревень Прислонихи и Игнатовки. Он бросил в решительное наступление «Железную дивизию» под командой позднее прославившегося в войне с Польшей, бывшего левого эсера, вольноопера армянина Гая.

Любивший все «эффектное», по кавказскому обычаю, не снимавший ни летом, ни зимой бурки и папахи, Гай, в миру Гая Дмитриевич Ежишкян, перед наступлением на плохом русском языке с коня кричал «Железной дивизии»:

— Храбцы мои (он не выговаривал «храбрецы»)! Горжусь вашими победами и верю, что будете достойны великого звания революционера и сумеете честно биться и умереть, как ваши славные товарищи, за нашу дорогую рабоче-крестьянскую Республику! На вас смотрит вся Советская Россия и ждет побед!

Над Симбирском грохотала, стонала артиллерия. Симбирский пехотный полк, чешские роты, сербский отряд, аэропланы, артиллерия, броневики бились против Тухачевского. Это было отчаянное сопротивление. Но, не глядя на потери, Тухачевский торопил Гая с приступом; уже заняты подсимбирские деревни Тетюшское, Елшанка, Шумовка, Баратевка. При занятии последней командарм-1 узнал, что командарм-5 общим приступом уже взял древнюю татарскую столицу Казань. Ожесточенно погнав Тухачевский красных на приступ Симбирска: до 12-го оставалось всего 2 дня.

В вспышках паники, в беспощадных расстрелах за малейшее малодушие, в отчаянных атаках на город — родину Ленина приступом шли войска Тухачевского. Для русской гражданской войны нужны жестокие глаза и крепкие нервы. 25-летний барин с мальчишеским красивым лицом, слава Богу, несентиментален, и гражданская война для него как хорошая ванна. Непреклонности, решимости, жестокости и спокойствию его дивились даже издавшие виды партийцы-пролетарии.

Потери велики, но красные все же продвигались; 11-го с боем взяли железнодорожный мост на Свяяге, белые пытались разрушить, но красные ворвались и отбили. В срок, обещанный Троцкому, 12 сентября, бои пошли уж под самым Симбирском. Волга бурлила от бивших в реку, разрывающихся снарядов, разнося эхом гул орудий далеко к Жигулям. К 10 часам Тухачевский окружил город с трех сторон; у белых осталась свободной лишь переправа через

Волгу. К 12, не выдержав, белые начали отступление, а в улицы уж врывались на их плечах красные.

Опережая пехоту, на автомобиле, в петлице с Георгием еще с мировой войны, в бурке, в черкеске, на «Старый венец» влетел Гай. Теперь уже шел не бой, а разгром города и отступающих белых. Тухачевский уж захватил телеграф; в первый же час овладения городом Троцкому пошла телеграмма: «Задание выполнено. Симбирск взят. Тухачевский».

А любивший все «эффектное» Гай летал по городу то на коне, то на автомобиле. В захваченных военных складах нашлась форма царских улан: мундиры, рейтузы, кивера, даже пики. Своим оборванным всадникам Гай приказал надеть полную уланскую форму; мобилизовал всех симбирских портных подгонять; и на другой день с пиками, в пестрых сине-красных мундирах, в киверах гарцевали по городу конники Гая под полувальс, под полумарш.

На Соборной площади Гай дал парад. Окруженный толпой выпущенных из тюрем арестованных, победно шумящими войсками, любопытными горожанами, Гай пытался произнести меж тушами оркестров взволнованную речь. Начал по-русски: «Храбцы мои!» — но дальше от возбужденья стал путаться, размахивать руками и вдруг перед мужиками и рабочими стал страстно кричать на родном армянском языке.

Очевидцы рассказывают, это было решительно все равно. Дело в подъеме. Площадь, ликуя, кричала Гаю «ура!», а Гай уж, чтоб переплюнуть друга, командарма Тухачевского, закатил телеграмму не Троцкому, а самому выздоравливающему Ильичу: «Взятие вашего родного города, это ответ за одну вашу рану, а за другую рану будет Самара».

У Тухачевского больше вкуса, чем у бесшабашного горячего кавказца: ни уланских мундиров, ни бурок, ни шашек с золотыми эфесами и насечками, ни лирических телеграмм, ни парадов с оркестрами. Тухачевский воевал всерьез и надолго.

Когда в Симбирске начались грабежи распоясанных победой красных солдат, командарм-1 отдал приказ: «Отдельно шатающихся мародеров арестовывать и расстреливать без суда; в городе должен быть водворен строжайший порядок». Город Симбирск был объявлен крепостью, в течение трех дней Тухачевский расстрелял до ста своих же красных солдат, кого гнал на Симбирск, но кто не удержался от солдатской радости мародерства.

В приказах по фронтам Троцкий ставил всем военачальникам в пример «славное имя нашего командарма-1 Тухачевского». И даже поправлявшийся от ран сам «хозя-

ин» Ильич, несколько раз обозвав гвардейца «молодцом», послал ему восторженную телеграмму привета.

Но в Симбирске Тухачевский не собирался длительно предаваться банкетам, которым на родине Ленина предался друг его Гай; на банкетах после официальных речей и тостов «улань»-гаевцы читали собственные стихи самого свежего вдохновения:

Мы юны, мы зорки, мы доблестью пьяны,
Мы верой, мы местью горим,
Мы Волги сыны, мы ее партизаны,
Мы новую эру творим.
Пощады от вас мы не просим, тираны,
Ведь сами мы вас не щадим!

Тухачевский двигался от Симбирска дальше, преследуя белых, донося Кремлю сухими реляциями: 30 сентября заняты Сингелей, Новодевичье, Буинск, Тетюши; 3-го взята Сызрань, 7-го Ставрополь и 8-го, сделав огромный переход, красные ворвались в центр Комитета Учредительного собрания — Самару.

СОВЕТСКАЯ МАРНА

Разжав победами Тухачевского и Славина восточный обод, Кремль временно ослабил сжимающее кольцо, но Кремлю в те годы не было передышки. Очередная опасность пришла с юга, с фронта донских казаков генерала Краснова. Старый атаман с помощью немецких оккупационных войск организовал сильную казацкую армию и вместе с добровольцами генерала Деникина двинулся вперед, за границы Дона.

Здесь — казаки, офицеры-корниловцы, дроздовцы, марковцы, это были лучшие белые силы. С Кавказа, разгромив 11-ю красную армию, сюда же бросилась «волчья дивизия» генерала Шкуро, славившегося бесшабашными налетами, отчаянными рейдами-прыжками.

А у красных в штабе меж главкомом Вацетисом и Троцким идет склока, не делят планов главнокомандования. Вацетис на юге видит опасность, требует переброски сил. Троцкий уперся. Но, защищая полковника Вацетиса от журналиста Троцкого, в штаб пришла верховная ленинская телеграмма: «Очень обеспокоен, не увлеклись ли вы Украиной в ущерб общестратегической задаче, на которой настаивает Вацетис и которая состоит в быстром и решительном наступлении: боюсь чрезвычайно, что мы с этим запаздываем, предлагаю налечь на ускорение и доведение до конца общего наступления на Краснова».

Так, победив Троцкого, Вацетис двинулся на Краснова. С Восточного фронта перебросил красные войска и военачальников; на юг, срочно вызванный, прибыл и Тухачевский, на котором уж сосредоточилось внимание Кремля; поддерживаемый старым знакомцем Троцким, 26-летний командарм получил здесь повышение, став помощником командующего фронтом; но вскоре взял в командование 8-ю армию и пошел на годящихся в «отцы» и «деды» белых генералов Деникина и Краснова.

В течение месяцев успешно развивал Тухачевский бои на Дону против казаков, «волков»-шкурицев и офицерских полков, где рядовыми сражались товарищи по корпусу, по военному училищу и Семеновскому полку.

Но крепко-накрепко, кровавым узлом связал судьбу с судьбой Кремля Тухачевский; или виселица, или слава. Белые не щадят, не милуют. Командующий Сингелевским красным фронтом прапорщик Мельников перебежал к ним — расстрелян. Захваченный белыми в плен ротмистр Брусилев, сын знаменитого генерала, — висит на осине. Но если бы даже этого и не было, разве мог бы офицер Бонапарт ходить по приказам принца Конде в его белом корпусе?

Бело-красная борьба на юге развивалась для красных удачно, как вдруг произошло перемещение опасности, на этот раз почти смертельной Кремлю: с востока грандиозной победой ударил верховный правитель адмирал Колчак.

Пользуясь переброской красных сил против Краснова и Деникина, Колчак нанес сокрушительный удар. План адмирала был решителен. Южные группы войск ударили на Самару — Симбирск, выводя белые армии на переправы через мосты у Свяжска и Симбирска на Москву. Северные — от Перми на Вологду, идя на соединение с генералом Миллером, открывая дорогу на Петроград.

Это была небывалая по своему фронту и силе сторон операция. С разницей в два дня двинулись белые генералы адмирала Колчака. 4 марта на восток 3-й и 2-й красных армий ударила Сибирская армия чешского генерала Гайды силой в 52 000 штыков и сабель при 83 орудиях. В три дня опрокинул Гайда красных. Стремительно овладев городами Ош и Оханск, продолжал наступление, погнав к лесистой, скалистой реке Каме.

А 6 марта по флангу 5-й красной армии более бурным натиском ударила Западная армия генерала Ханжина в 48 000 штыков и сабель при орудиях. Смяв и отбросив 5-ю красную, Ханжин круто загнул на юг по тракту на Бирск, начав резать тылы растянутых в нитку красных войск.

Успех Колчака был ошеломляющ. Красные пятились в паническом бегстве, не в состоянии оказать сопротивления. Полный прорыв Восточного фронта развивался с неожиданной даже для штаба Колчака быстротой: открывался путь на Москву. «Нам известно, что происходит сейчас в Советской России и в Красной Армии, — писал в приказе генерал Белов, — там развал в тылу, полная разруха на железных дорогах, упорное сопротивление возможно теперь только как акт отчаяния, население всюду пойдет за нами».

Но воля Колчака к наступлению столкнулась с волей к отражению оправившегося от пули Ленина и шедшей за ним партии. Ленин понял смысл наступления Колчака. На всю еще подвластную Кремлю землю бросил лозунг: «Все на восток!» В Реввоенсовет Восточного фронта пришла тревожная телеграмма Ленина: «Всеми силами остановить наступление Колчака. Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной; напрягите все силы...»

А наступающим белым армиям всего два перехода до Волги, до хлебных запасов, а там белые в Великороссии, в сердце России.

Двадцать процентов коммунистов партия бросила на фронт Колчака, пошли эшелоны питерских, московских рабочих, оплота Кремля. Все на восток! Все против Колчака! И с юга на восток летит двадцатишестилетний Тухачевский.

А бои уже в 100 верстах от Самары. Дерется под Вяткой Ударная башкирская дивизия князя Голицына. Башкиры — ожесточеннейшая против красных часть. Снег еще лежит серебряным настом, башкиры-лыжники обгоняют отступающих красных, бьют с тылу, сочетая с ударами в лоб. Смял красных князь Голицын.

Назначенный командующим группой в 4-й армии коммунист М. В. Фрунзе переброшенному с юга Тухачевскому дал в командование 5-ю красную армию. Слово «пятоармеец» в Красной Армии до сих пор окружено ореолом славы. Операциям 5-й армии посвящаются тома.

В 5-ю армию влили лучшие силы питерских рабочих-коммунистов, придали военно-политический аппарат во главе с непререкаемо-авторитетным, отважным и умным большевиком И. Н. Смирновым.

По спасению Кремля Тухачевский во второй раз взял на себя заглавную роль. Не просто было соглашаться главному командованию и Реввоенсовету со смелыми и самонадеянными планами 26-летнего полковника. Человек мало-страстный в жизни и страстный в военном деле, Тухачевский в этом мае поставил на карту все: либо —

быстрый отчаянный маневр и спасение фронта, либо — отчаянное поражение.

Важней всего были дни и часы. И командующий фронтом согласен с отчаянным планом Бугуруслано-Уфимской операции Тухачевского. Уже 4 мая, не теряя сроков, собрав все, что можно, в кулак, Тухачевский под Бугурусланом вступил в соприкосновение с противником. 6 мая повел своим правым флангом наступление, искусным маневром успев нанести удар. Первое короткое сражение — удачно. 5-я армия захватила важный железнодорожный мост через реку Ия и угрозой окружить Бугульминскую группу противника вынудила генерала Ханжина к отходу от Бугульмы.

13 мая Тухачевский вошел в Бугульму. Это была первая победа с момента наступления Колчака, короткая, но поднявшая дух. Теперь вместе с Туркестанской армией Тухачевский двинулся дальше на Уфу, намечая тут главный бой, который должен сорвать всю грандиозно задуманную операцию Колчака.

Но штаб Колчака после проигранной Бугуруслано-Уфимской операции старался парировать развитие успеха Тухачевского. Кулак белых в 6 пехотных полков, опираясь на рубеж реки Белой, у устья, ниже Уфы, пошел в наступление, чтобы вернуть инициативу сражений.

Планы, красный и белый, были тут почти одинаковы. В широкие клещи пытался взять Тухачевский противника; генерал же Ханжин выдвинул две ударные группы, предполагая, в свою очередь, взять в клещи фланг Туркестанской армии.

Стоял степной палящий жар с раскаленным иззеленяголубым небом. Войска Тухачевского в 49 000 штыков и сабель при 92 орудиях двинулись в направлении к Белой и, достигнув указанной им линии, у с. Байсарово завязали бой с войсками генерала Ханжина.

У Тухачевского — отряды питерских, московских коммунистов, уральские рабочие-большевики, конница Каширина и Гая, латышские полки, партизаны Чапаева, где бригадой командует волжский грузчик, бурлак Шкарбанов, а конницей пленный венгр Винерман, говорящий только по-мадьярски; тут полки Степана Разина, Пугачева, красные башкирцы Муртазина, красные калмыки.

У Ханжина — старики оренбуржцы — казаки идут на красных в атаку без выстрела, с одними пиками и опрокидывают рабочих — «иль умрем в степях, иль победим!»; крепки и пехотные офицерские полки; отчаянны и белые башкиры князя Голицына.

Как в белом, так и в красном штабе следили с волнением за операцией под Уфой. У Тухачевского и Ханжина решалась дальнейшая инициатива кампании. Не только штабы, Москва и Омск напрягли внимание, следя за фронтом, куда брошены последние силы; тут либо проигрыш, тогда не удержать Колчака и поражена революция, либо перелом и красные, перейдя в наступление, валят Колчака, и революция победила.

Это советская Марна, определяющая не только военный успех, но движение революции, может быть, ход русской истории.

Очевидцы передают, что обычно спокойный 26-летний командарм Тухачевский на рассвете 28 мая, когда после телеграмм Ленина двинул войска, был взволнован.

Колчак торопил своего шурина генерала Ханжина; первыми вступили в решающую историю революции битву белые. Правофланговая ударная группа — Башкирская дивизия князя Голицына — переправилась на паромах через Белую и начала сражение.

Под командой Голицына и Тухачевского за судьбу русской революции дрались у реки Белой с красными башкирами белые башкиры, с красными калмыками белые калмыки, с красными казаками белые казаки, мобилизованные мужики с мобилизованными мужиками и офицеры с рабочими.

Бой был длительный, но разбил старого дворянина князя Голицына нетитулованный, но не менее старый дворянин Тухачевский. Белые уже отступали, и красные преследовали откатывающихся на юго-восток к переправам через Белую белых. Тухачевский торопился, наседая на арьергарды Ханжина, готовясь окружить его в районе Уфы и разбить наголову.

Но из штаба фронта пришло приказание, переправясь через Белую, начать круто уклоняться на север, на Бирск. Бешено ругался 26-летний командарм, грозя не исполнить приказа, мешающего докончить окружение белых. Но все же, ругаясь, свернул в указанном направлении и 7 июня, когда от зноя и жара под голубым разгоряченным небом падали люди и лошади, с боем занял город Бирск.

В Кремле — полное удовлетворение; но из Кремля телеграммы: не прекращать наступления. Колчак должен быть уничтожен. Тухачевский того же мнения; ведь это на темном ночном полукрасном от пожаров небе Урала загорается та самая звезда, о которой он мечтал с 15 лет.

В Яффе в Сирийскую кампанию Наполеона французы расстреляли 2000 пленных арнаутов, и Наполеон писал брату: «Никогда еще война не казалась мне такой мерзо-

стью». В боях под Уфой красных раненых и убитых 16 000 человек; белых только в плен попало 25 000, их расстреливали без счета. Русские не берут русских в плен. Вешают на телеграфных столбах, наваливают трупы штабелями; красные вырезают белым казакам на ногах лампасы, офицерам на плечах погоны. Белые закапывают красных живьем в землю, вниз головой, и казаки учат молодежь рубке на бегущих пленных. А над всем подымается высоко звезда Михаила Тухачевского.

Казалась ли ему эта война «мерзостью»? Впрочем, вероятно, у Наполеона это была «слабая минута», он же сам ведь говорил, что «лет до тридцати победа может ослеплять и украшать славой ужасы войны». Тухачевскому было как раз 26 лет. Но Наполеон выражался и еще резче: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей».

Напрасно напрягал все усилия штаб Колчака: «Марна» Тухачевскому проиграна и моральный урон так силен, что белые отступают так же панически, как недавно отступали красные. А Тухачевский, как недавно Гайда, громя отступающих, движется, не давая белым передышки.

Перейдя Белую меж Уфой и Бирском, у Топорнина, 9 июня Тухачевский уже занял Уфу и увидел громаздящийся за нею скалистый Урал.

РАЗГРОМ СИБИРИ

Но и под Уралом у красных не остановка; Ленин хочет уничтожить Колчака. Тухачевский предлагает: форсировать с 5-й армией Уральский хребет. В штабе главкома Вацетиса, в Реввоенсовете у Троцкого снова шум и склока. Сам любитель биографии Наполеона, полковник Вацетис категорически настаивает на приостановке наступления на рубеже реки Белой. «Робеспьер из салон-вагона», не терпящий никаких Наполеонов, того же мнения. Но уперся Тухачевский, с ним Фрунзе, Смирнов, и общая склока до того горяча, что решает все владычная рука Ленина и ЦК партии.

План Тухачевского Лениным одобрен и принят. Упорствующий Вацетис смещен, заменен полковником А. А. Самойло, а у обиженно-разгорячившегося, подавшего в отставку Троцкого отставка не принята¹.

¹ Здесь допущены неточности: И. И. Вацетиса на посту главкома сменил С. С. Каменев; А. А. Самойло в старой русской армии имел звание генерала. (Прим. ред.)

Уверенность 26-летнего Тухачевского в решении спора Лениным в его пользу настолько была велика, что на свой страх и риск, до решения Москвы, Тухачевский вел уже нужные ему перегруппировки армии, готовясь к перевалу через Урал.

Адмирал Колчак собирал все силы к тому, чтобы не пропустить красных через Уральский хребет. Пути преодоления хребта крепко заняли белые. Через выветрившийся, скалистый Урал всего два главных пути.

Вдоль железной дороги на Аша-Балашовскую — Златоуст — один; и другой — великий Сибирский тракт через Байки на Дуван — Сатку. Колчак крепко занял оба. Разведка доносила Тухачевскому: белые ждут.

Но зарвавшийся в боевом счастье Тухачевский все же верил в свою звезду. Тухачевский понимал всю рискованность: зажди белые в уральских теснинах — уничтожат.

Не одну ночь в уфимском штабе не спал Тухачевский. Создал план отчаянного маневра. Перевалом через Урал не взять ни одного из главных путей. Здесь решил обмануть демонстрациями, а самому повести армию по труднопроходимой, в теснинах, дороге, вверх по долине горной реки Юрюзани. Переваливши же хребет, выйдя таким образом в белый тыл, решил коротким ударом захватить важнейший стратегический пункт Златоуст, прикрывавшийся недоступным хребтом Кара-Тау.

Это почти авантюра, но разве не боевыми авантюрами стяжают славу полководцы — Наполеон под Мантуей, Людендорф — Гинденбург под Танненбергом, Суворов на Чертовом мосту?

В Реввоенсовете армии шли лихорадочные совещания. Бывший рабочий, подпольщик И. Н. Смирнов, рабочий Гончаров, комиссар штаба Розанов, склоняясь над картами Урала, выслушивали планы гвардейского командарма не без смущения. Тухачевский совершенно спокоен.

— Я учитываю, — говорил, указывая на карту, — охватывающее направление долины Юрюзани по отношению к единственному пути отхода групп противника. Им в тыл я выведу наш ударный кулак и совершенно уничтожу их с тылу в этих же теснинах, которые они придумали для нас.

— Смело, смело, — покачивали головами члены Реввоенсовета.

— Но вы же этим, товарищ Тухачевский, совершенно обнажаете участок нашего фронта против хребта Кара-Тау? — говорил Грюнштейн.

— Обнажаю. Совершенно. Зато на левом фланге армии, на фронте всего в 30 километров, между Айдос и Ураз-Бахты я развертываю Северную ударную группу в составе 15 стрелковых полков с легкой и тяжелой артиллерией.

— Смелó, смелó, ничего не скажешь.

— Ну, что ж, — улыбается в моржовые усы Смирнов, — была не была, где наша не пропадала!

На политических собраниях Реввоенсовета, где докладывал начполит Файдыш, Тухачевский бывал молчалив. И здесь при оперативных сообщениях разговорчив не был, но твердо знал, что своего двадцатишестилетнего гвардейца-командарма именно за эту молчаливую решимость и уважают члены Реввоенсовета: старый подпольщик, «икона пятой армии» Иван Никитич Смирнов, Грюнштейн, Гончаров и старик секретарь Шумкин.

На форсирование Урала 5-я армия Тухачевского выступила тремя колоннами. Первая, наиболее слабая, в составе бригады конницы Каширина и бригады пехоты двинулась вдоль железной дороги Уфа — Златоуст. Левая в составе 27-й стрелковой дивизии — по тракту Байки на Дуван — Сатку. Средняя, две пехотные дивизии, Петроградский кавалерийский полк из рабочих-коммунистов, пошла вверх по реке Юрюзани.

Ночь стояла как мертвая; в звездной темноте чернел массив Урала. Командарм выводил 5-ю армию 23 июня.

Отчаянная задача лежала перед средней колонной.

Бечевой руслом реки, под нависшими скалами, сквозь теснины она медленно двигалась. Позвякивали на ходу котелки, лязгали, сцепившись, штыки столкнувшихся в ночи пехотинцев. В авангарде 228-й Карельский полк из петербургских коммунистов-рабочих.

Ночь сменилась рассветом; шумит уральский лес, поет птицами, качаются лиственницы, сосны, ели; на полянах от земляники красно; а цветы цветут, каких Тухачевский сроду и не видал: царские кудри, акониты, кукушкины слезы; а ягоды! ягоды! На отдыхе мнут траву, лязят на пузе, едят ягоду бойцы.

Но торопится в уральских теснинах средняя колонна. Правая и левая колонны уж вступили в демонстративный бой на перевалах; а средняя идет в глубь Урала теснинами реки Юрюзани.

5 июля в глубоком тылу белых в районе с. Нисибаш 27-я стрелковая дивизия средней колонны появилась с такой неожиданностью на златоустовском плоскогорье, что

12-ю резервную дивизию Ханжина застала за шереножным учением. Красные бросились и смяли белых.

Перевал удался, но маневр еще не закончен. В долинах меж реками Юрюзанью и Ай разыгрались жаркие бои. Как звери дрались зашедшие в тыл красные на златоустовском плоскогорье; с фронта на проходы что было сил ударили правая и левая колонны. Для белых и красных решался важнейший вопрос: чей Урал?

Но теперь на поддержку армии Тухачевского навалились на Урал Вторая и Третья красные армии. Бои Тухачевского у Нисибаша, Айлина, под Китами, у Кувашей и у Миасса, как ни были тяжелы, все ж сломали белых, и 13 июля Тухачевский вырвался на просторы Сибири.

Маневр удался. Урал у красных. И поражение белых велико.

Видно, понимая, что дала Кремлю смелость его маневров, Тухачевский пошел, уже не считаясь с главным командованием; у него скандалы с командующим фронтом Ольдерроге, с главнокомандующим Каменевым; но он идет затоплять Сибирь кровью, не обращая внимания на приказы, одергивающие полководческую страсть 26-летнего командарма.

Главное командование видело: молодой человек зарывается, такие победоносные марши хороши для Тамерлана, но в XX веке приводят иногда к катастрофам. Но маршмаршем идет Тухачевский, опрокидывая остатки сопротивления белых, стремясь отбросить их к югу от Сибирской магистрали, чтоб овладеть Троицком.

Эту тамерлановскую зарывистость Тухачевского понимал и штаб Колчака. По плану генерала Лебедева под Челябинском, собрав все, что было, в последний раз попытался зажать Тухачевского Колчак.

Маневр удался. Подставив себя под удары северного и южного кулаков, Тухачевский попал в тяжкое положение. За Челябинском с тревогой следило главное командование; неделю с переменным успехом шли бои, и 31 июля положение Тухачевского стало безвыходным. Но в челябинской смертельной схватке, на границе Европы и Азии, не таланты зарвавшегося 26-летнего полководца с мальчишеским лицом, а только его счастье пришло на помощь.

В момент последнего отчаяния на поддержку красных внезапно выступили отряды челябинских рабочих и 31 июля перетянули чашу весов со стороны генерала Лебедева на сторону Тухачевского.

5 августа уж по всему фронту Тухачевский одержал победу, больше 15 000 белых попало к красным в плен.

12-ю белую дивизию уничтожили полностью. Белые под командой генерала Дитерихса спешно отступали в глубь Сибири, за Тобол и Ишим; не смогли защитить даже столицу Колчака — Омск.

Бои, расстрелы, сыпной тиф косили белых и красных, Сибирь текла кровью; эту картину красно-белой войны в Сибири не сравнить даже с 1812 годом. Это ад смертей; и на этом кроваво-вшивом фоне все ярче подымалась военная звезда Тухачевского, определяя полководческую славу. Он шел победным маршем, красным завоевателем, победителем, со свойственной лишь русскому бунту беспощадностью уничтожая врага.

Один за другим падали сибирские города Петропавловск, Новониколаевск, Красноярск; в плен сдавались десятки тысяч; у станции Тайга сложили оружие восемь тысяч польских легионеров. 7 марта Пятая армия вошла в Иркутск, где, покинутого чехами и французами, на дворе тюрьмы, уже раньше расстреляли красные адмирала Колчака.

Имя победителя Колчака, Тухачевского, знала теперь уже вся партия и армия. И, щуря темный монгольский глаз, читая телеграфные победные реляции, Ленин говорил в усмешке:

— А гвардеец-то молодец! Настоящий полководец. Как вы думаете, Иосиф Виссарионович, он у нас, чего доброго, еще Наполеоном станет, а?

И, задумавшись, добавил угрюмо и угрожающе:

— Ну, мы-то с Наполеонами справимся!

СТАВРОГИН

Победы Михаила Тухачевского в русской гражданской войне блестящи, но не принадлежат только «мечу» и «маневру». Как и Бонапарт, не будучи по складу души революционером, маниакально-честолюбивый двадцатипятилетний полководец полагал, что «желать убить революцию может только сумасшедший». Пытавшихся веревкой остановить безудержно несущуюся телегу российских восстаний «сумасшедших» белых генералов Тухачевский разбил в гражданской войне.

В 1793 году перед славой Тулона артиллерийский поручик Бонапарт, едучи в Марсель, писал, как друг конвента, политическую брошюру «Ужин в Бокере».

В 1918 году, в разлив русской гражданской войны, в штабном вагоне, откуда наносил он поражения контррево-

люционными генералам, Тухачевский писал статьи «О войне мировой, войне гражданской, войне классовой».

Здесь, сдвигая войну с национальных позиций в окопы Интернационала, Тухачевский выступал унтер-офицером, преподающим полевой устав гражданской войны мировому пролетариату в классовой войне. Не только войной газов, аэропланов, бацилл, танков, шрапнелей, пулеметов, по Тухачевскому, будет эта мировая гражданская война. Она должна быть войной не только фронта, но и войной психологического одоления за фронтом, войной листовок, газет, митингов, брошюр, агитации, пропаганды, всего, окрашивающего души в красный цвет.

Политически ведомая старым большевиком И. Н. Смирновым, 5-я армия Тухачевского была образцом в войне за «одоление душ». Она дала наглядный материал для книги, как в грандиозной симфонии разрушенья капиталистического мира, в войне, которую поведет Тухачевский, надо овладевать — «душами». Это, может быть, даже труднее, чем «сокрушать тела».

Ослепительно-соблазнительной агитацией увели коммунисты «души» русских крестьян и рабочих в плен дорогого сердцу Тухачевского «восточного деспотизма». По уменью «борьбы за души» нет силы, равной коммунистической партии. В 5-й армии у Смирнова работа по развалу фронта врага и овладению «душами» за фронтом делала чудеса; у Смирнова был «миньярский рабочий отряд»; во время самых ожесточенных зимних боев «миньярцы» на лыжах проникали через фронт в тыл к белым и там вели разваливающую подпольную работу-борьбу, подымая классового врага на белых. Это была героическая, беззаветная работа идейно преданных ордену «серпа и молота» коммунистов.

В боях и маневрах Тухачевского она оказывала неоценимую услугу; к красным переходили подчас полки, дивизии белых целиком, перебив своих офицеров и открыв фронт. Эта «агитация с тылу» спасла Тухачевского под Челябинском в критический момент боя, когда выступили на помощь красным челябинские рабочие. А через год в войне с Польшей польские члены ордена «серп и молот» ввели штурмующие войска Тухачевского обходными путями в Брест, и красные овладели крепостью.

Удары с тылу «одоленными душами» вошли твердым правилом в тактику мировой гражданской войны Тухачевского. Но кроме переброски через фронт отрядов, в 5-й армии исключительно тонко была поставлена система провокации. Группа бывших эсеров, прикинувшись агентами

белой контрразведки, на самом деле служили 5-й армии. Это была рискованная авантюра-игра: через фронт от красных с фальшивыми сведениями к белым и от белых с настоящими сведениями к красным бегала бесовская организация.

Тухачевский бил белых маневрами с фронта, агитаторами с тыла и провокаторами через фронт, 5-я армия была лучшей армией Кремля, ее знамя в Москве в Музее красной армии хранится, по выражению безбожника Троцкого, как «*священная революционная реликвия*». В годовщину армии Ленин прислал телеграмму привета: «В годовщину создания 5-й армии, которая за один год из небольшого отряда стала Армией, сильной революционным порывом, сплоченной в победоносных боях при защите Волги и разгроме колчаковских отрядов, — Совет Рабочей и Крестьянской Обороны шлет красным героям товарищеский привет и выражает благодарность за все труды и лишения, вынесенные Армией при защите Социалистической Революции. В возмещение материальных лишений, выпавших на долю Армии в тяжелой боевой работе, выдать всем красноармейцам и командному составу Пятой армии месячный оклад жалованья. Председатель Совета Обороны Ленин».

А Революционный Военный Совет Республики отдал приказ: «В день годовщины Пятой армии Революционный Военный Совет Республики постановил: занести имя Пятой армии на Почетную доску в зале Красного знамени Реввоенсовета Республики и наградить командующего Пятой армией тов. Тухачевского за блестящее руководство победоносной армией орденом Красного Знамени».

Бред необычайной судьбой и славой признала еще за Тухачевским гимназия; личную храбрость удостоверила царская армия; упорство воли показали побеги из плена; но только революция оценила таланты полководца и организатора.

Никто не был так быстр в восстановлении дисциплины в дрогнувших частях, порядка в захваченных городах; в хаосе советских армий армия Тухачевского пленила аккуратнейшего журналиста Троцкого железным порядком.

Но было бы неверно вообразить Тухачевского мрачным педантом. Выигравший советскую Марну на Урале, разбивший Колчака в Сибири, Михаил Тухачевский типично русский барин с типично-барской же философией.

Не революционер «в пользу бедных». Полководец. Натура властная, богато одаренная, жестокая, глубоко русская.

Духовным праотцем его был другой русский барин, обер-фейерверкер европейских революций, дирижер красных симфоний разрушенья, дававший их в Париже, Праге, Дрездене, Лионе, Польше, метавшийся по Европе, преследуемый мировой полицией русский скиф — Михаил Бакунин.

Не так блестящ, образован и революционен Михаил Тухачевский. Он вовсе не революционен. Его революционность на свой салтык; и все ж похож на Михаила Бакунина. Тухачевский — одна сторона бакунинского характера; он тот многомятущийся русский барин скиф-анархист Бакунин, который вдруг в разгар самим же разжигаемых революций в Европе садился к письменному столу писать всероссийскому императору Николаю I предложение стать своеобразным революционным диктатором во главе потока славянских революций. Он — тот Бакунин, который вдруг перед побегом из Сибири, чтоб снова бунтить-бунтовать Европу, невероятным революционным диктаторством хотел облечь сибирского генерал-губернатора Муравьева.

Из всей музыки Михаил Тухачевский любит больше всего ту же самую 9-ю симфонию, которую любил Бакунин и которую Бакунин при ожидаемом пожаре мира решил даже «спасать, хотя бы с опасностью для жизни». Только в этом «скифе», Тухачевском, нет страсти разрушения для разрушения. Он — цельнее, в нем одна бакунинская линия страсти: разрушение для варварского диктатора.

Ценитель музыки, эстет, поклонник Бетховена, любитель левой поэзии, красавец барин во главе буквальных орд гражданской войны, которых гонят пулеметами «рукастые» политруки, это тоже неплохая тема, пожалуй, даже для... симфонии. Это не царский вахмистр Буденный, не металлист Ворошилов, не штабной полковник Вацетис.

В русской литературе есть утверждения, что в «Бесах» Достоевский писал образ Ставрогина с Михаила Бакунина; Бакунин, конечно, не Ставрогин, но Ставрогин, конечно, Михаил Тухачевский. «Ставрогин, слушайте, мы сделаем смуту, — бормотал Верховенский почти как в бреду, — вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ... Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно... Ставрогин, вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своей, и чужой. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы

предводитель, вы солнце...» — Троцкий, я думаю, вполне мог бы продекламировать это Тухачевскому.

Сорвется иль не сорвется блестящая кровавая карьера Тухачевского — Бог весть. Тухачевский бьет в историю дальнобойным орудием. Прицел — слава.

Он разрабатывает тактику будущих гражданских войн, пишет безлично, бескрасочно: чувствуется одно — воля. Воля есть у этого барина; он показал, как умеет полюбоваться пожаром его русская барская душа. «В нас странная и, пожалуй, демонская любовь к огню», — определял славянскую душу Бакунин.

В штабном поезде Тухачевского, в годы гражданской войны выплывавшем то под Симбирском, то под Самарой, то на Урале, то вылетавшем в необозримые сибирские просторы, у Тухачевского в рабочем купе — карты, кроки, планы, оружие. Тухачевский занят всегда, у него нет отдыха, всегда собрана воля, она слишком целеустремленна.

Его отдых — в соседнем купе, там ни карт, ни крок, ни оружия — токарный станок, тонкие доски, лобзики, палитуря. «Я не люблю ни женщин, ни карт, я ничего не люблю, я существо совершенно политическое», — писал Бонапарт.

У командарма Тухачевского единственная страсть. Ходящий во главе орд красных башкир, казаков, китайских батальонов, беспощадных коммунистических полков, латышских интернациональных отрядов, лапотных сибирских партизан — командарм в свободное время в купе поезда делает скрипки. Миша Тухачевский, тот большеголовый мальчик, которого водила за ручку по родовому парку мадам, — любит делать скрипки. Он не играет на них, но прекрасно делает: Тухачевский дарит их, на этих скрипках играют другие; это прекрасные скрипки, и когда-нибудь они будут в большой цене.

В те вшивые, отчаянные годы, когда Тухачевский разбивал «сумасшедших» генералов контрреволюции, жизнь человека не стоила ничего. Убивали за интеллигентную наружность, за крепкие башмаки, за «тонкие пальчики». Никогда не выдавший винтовки брат командарма, талантливейший, кабинетнейший математик, ездил в поезде младшего брата красного командарма Миши. Тут, по крайней мере, не расстреляют за математику.

И жена Михаила Тухачевского, Маруся Игнатьева, та самая хорошенькая гимназистка, гулявшая с ним под руку по пензенской Поповой горе, ездила в поезде мужа. Маруся

пустенькая, легкомысленная, хорошенькая женщина, вроде Жозефины, но помельче. Она вся в женских, обывательских интересах, поэтому и стала жертвой жестокости бредившего мировой славой мужа.

У Маруси родители простые люди, отец машинист на Сызрано-Вяземской железной дороге, Маруся не голубой, как Тухачевский, крови.

Может быть, Маруся никогда бы и не сделала рокового шага, но русский революционный голод во вшивой, замершей стране был страшен. А жена командарма Тухачевского может ехать к мужу экстренным поездом, ей дадут в охрану и красноармейцев и не обыщут, как мешочницу. Маруся из любви к родителям, по-бабьи, возила в Пензу домой мешки с мукой и консервными банками.

Не то выследили враги (врагов у Тухачевского пруд пруди) — о мешках стало известно в Реввоенсовете фронта. И, наконец, командарму Тухачевскому мешки поставлены на вид. Мешки с рисом, мукой, консервными банками везет по голодной стране жена побеждающего полководца?!

Я думаю, слушавшему «красную симфонию» и глядевшему не на небесные звезды, а на свою собственную, Тухачевскому от этих мешков прежде всего стало эстетически невыносимо. Мировой пожар, тактика мировой пролетарской войны — и вдруг мешки с мукой для недоедающих тестя и тещи! Какая безвкусица!

Тухачевский объяснился с женой: церковного развода гражданам РСФСР не требуется, и она свободна. Маруся была простенькой женщиной, но тут она поступила уж так, чтоб не шокировать мужа: она застрелилась у него в поезде. Враги, донесшие на Тухачевского, посрамлены, а Тухачевский женился еще раз.

Из Сибири поезд Тухачевского шел без отдыха назад в Россию, на юг, на фронт против генерала Деникина, уж упавшего в своем наступлении от Орла к Ростову.

Это был решающий год гражданской войны. В купе недоделанные скрипки, станок, лобзики; Тухачевский ехал добивать генерала Деникина, еще оказывавшего красному комфронта Егорову жестокое сопротивление.

Восьмую армию Шорина, ходившую по льду на Батаяск, Деникин уничтожил; прямыми ударами конной лавой Буденный ходил пять раз на Аксай и был отбит; в этих атаках по льду под лед провалился, чуть не утонул теперешний глава Красной Армии наркомвоенмор Клим Ворошилов. Вместе с Буденным Ворошилов взбунтовался против

Егорова, отказываясь снова идти в лобовое наступление, как кидал на Деникина Егоров.

— Ты нам маневр дай! А не в лоб бросай! — кричал в заседании Реввоенсовета Ворошилов.

Сюда-то, сломить Деникина, перебросило главное командование из Сибири искусного маневрами, прославленного Тухачевского.

Тухачевский прибыл на фронт в январе 1919 года. По южным степям валялись тифозные, недобитые, раненые и незакопанные убитые в боях.

Тухачевский, приняв командование фронтом, двинулся глубоким обходом на Торговую. Белые оказывали отчаянное сопротивление. У Торговой кавалерийский генерал Павлов попробовал зажать шедшую в авангарде красную конницу Буденного, повел в глубокий обход свою кавалерию при 25 градусах мороза по Сальским степям. Сорок верст конного зимнего марша сделали конники Павлова, обморозились и, сойдясь с красными, понесли поражение. Отступая, поехали опять сорок верст, но уже не доехали — гибли в метели, в буранах в Сальских степях, в операции, похожей на сумасшествие.

Она раскрывалась быстро, эта роковая страница русской истории. К Черному морю уж катилась общей лавой белая армия и беженцы. Под нажимом Тухачевского покраснел Дон, фронт ушел на Кубань, пала кубанская столица Екатеринодар, и настала очередь единственного еще белого города Новороссийска.

Красные нажимали: началась эвакуация белых, уплывавших на кораблях Антанты, но она пошла — отчаянием.

Уже все русские корабли отошли от новороссийского берега; в городе свирепствовал грабеж; вооруженные толпы разбивали вагоны, склады, пожаром давая русской трагедии жуткую раму огня. Плач, стоны, крики гулом отчаяния стояли на берегу. Военные склады пылали оранжево, трещали взрывами пулеметных лент подоженные вагоны.

В ночной темноте туч терялся дым; огонь этот был зловещ, его не забыли еще многие русские эмигранты в Париже и Берлине. Он освещал береговую толпу мечтавших о бегстве. В огне на берегу моря скучились, спешиваясь, тысячи всадников. Кони метались от жажды, всадники разжигали костры, пьяные от грабежа, проигрыша, паники. Это — казаки, кубанцы, донцы, отступающие с женами и детьми. Конница прибывает, карьером табуном несясь по шоссе, давя, сшибая друг друга.

А когда в толпе прошел крик: «Красные у Туннельной!» — как разоренный муравейник, заварилась еще стремительней толпа. Это сбрасывать в море всех промахнувшихся в исторических ощущениях шел барин, красавец, любитель 9-й симфонии Михаил Тухачевский.

Он уже не чувствовал сопротивления, силы белых рухнули; белые упали, лежачих не бьют, но тогда в России лежачих били с еще большим остервенением; это была кровавая и жестокая победа.

Красные войска Тухачевского ускоряли марши, дорываясь до последней мести — Новороссийска. Впереди замученной трехлетней гражданской войной пехоты мчалась конная армия, освирепевшая, не знавшая никому пощады; за армией двигался поезд командарма; теперь командовать было уже легко. Тухачевский, вероятно, доделывал скрипку.

Ночь накануне падения Новороссийска была тихая, темная. В обрывках тяжелых туч иногда пробежал месяц, но быстро скрывался в черном, нависшем над морем куполе. Разъезды красной конницы уже входили в последний оплот русской Вандеи на едва брезжившем рассвете.

От Екатеринодара на Новороссийск медленно двигался поезд командующего фронтом Тухачевского. Белые уже не отвечали на выстрелы красной артиллерии. Побежденные, в панике спасаясь от мести революции, занимали последние французские и английские корабли. Только сверхдредноут англичан «Император Индии» в ответ красной артиллерии Тухачевского медленно повернул носовую башню, наводя серые длинные пальцы черными отверстиями — через головы русских кораблей.

В клубах черного дыма три острых и длинных меча синим пламенем метнулись с «Императора Индии». Густой гул потрясающим грохотом, казалось, заколебал мир. Полминуты — второй. Артиллерия короля Георга отвечала артиллерии Михаила Тухачевского, давая погребальный салют контрреволюции русских генералов.

Иностранные суда спешно уходили за мол. А по молу уж свистали первые красные пули. Над бухтой лопнула первая красная шрапнель. Стоявшая толпа упала. Над уходящей иностранной эскадрой все чаще вспыхивали розовые облачка шрапнелей. Американские миноносцы, болтая невыбранным якорем у носа, уже пустили дымовые завесы: над «Императором Индии» раздался треск гремящего зонтика, американцы дали полный ход.

Это любитель красной симфонии и русского варварства Михаил Тухачевский гонит Европу от русских берегов.

Разбитого в Сибири Тухачевским адмирала Колчака вовремя не поддержал глава белого Юга генерал Деникин; сброшенного Тухачевским в Черное море Деникина своевременно не поддержал польский маршал Иосиф Пилсудский. Пилсудский мог подать руку помощи русскому белому генералу под Орлом, но из-за ненависти к прежней России не подал. «Все лучше, чем они. Лучше большевизм!» — сказал маршал Пилсудский.

Последний «пан Володыевский», сорвавшийся со страниц исторических романов Сенкевича (как характеризует его талантливый русский писатель Алданов), Иосиф Пилсудский твердо знал, что с красной Россией сойтись все же придется, но считал выгодней сойтись с Кремлем один на один.

В исторический день капитуляции Германии и воскресения Польши, 11 ноября 1918 года, на развалинах военного пожарища на мировую сцену вышел дотоле неведомый русский подданный террорист Иосиф Пилсудский, жизнь которого — хороший авантурный роман.

Много русских и немецких тюрем, аварий, крови видел Пилсудский, но всю жизнь верил в свою звезду, и в 1918 году, внезапно выйдя к польской исторической рампе, вероятно, несколько ослеп от бешеного света. У Пилсудского большие заслуги перед воскресшей Польшей, он — Стефан Баторий, Ян Собеский, Тадеуш Костюшко; он — последний пан Володыевский, став во главе войск воскресшей родины, пишет:

«Военное искусство — это божественное искусство, тысячелетиями отмечающее вехи в истории человечества».

Но на пути великой Польши — Москва, москали, которых с детства ненавидит польский маршал. Из местожительства русских наместников, старинного Бельведера, напряженно следил польский национальный вождь за бело-красной борьбой русских. Россия — страшна, если победят белые генералы, но страшен и красный Кремль, ежеминутно готовый взорвать польского орла изнутри.

Не сразу решил не подавать руки белым Пилсудский: в Польше — помогал борьбе с Кремлем Бориса Савинкова, террориста такой же авантурной складки, формировавшего «зеленую армию».

Но в составе советской миссии «Красного Креста» в Варшаву в 1919 году въехал друг детства Пилсудского большевик-поляк Ю. Мархлевский. Дружба детства — сильная

вещь. Не для «Красного Креста» послал председатель Совнаркома Ленин в столицу молодой Польши старого большевика Мархлевского, соратника Розы Люксембург, эмигранта, в Германии много лет редактировавшего «Зексисхе Арбейтцайтунг».

На друга детства Лениным возложена «бесовская» миссия: убедить Пилсудского в том, что для его Польши красная Россия Ленина выгоднее всякой белой России, чтоб не подавал маршал белым русским руки.

В былом изрядно голоднувшие эмигранты, Мархлевский и Пилсудский встречались во дворце — Бельведере. И так, расчет Пилсудского клонился в сторону неподачи русским белым руки, но, в бытность Мархлевского с «бесовским» поручением, произошло полное «колебнутие» души начальника панства.

Воли не отнимешь у польского маршала. Ненавидящий Россию и охваченный исторической истерикой, авантюрный человек не попался на московскую удочку, у него был свой план сыграть большую игру: сойтись с потрясенной трехлетней мировой и трехлетней гражданской войной Россией и ошеломительной мазуркой вывести Польшу великой державой «от моря до моря».

«Искусство войны — это божественное искусство», — говорит Пилсудский.

«Самое главное в жизни — это «уметь решаться», — говорил Наполеон.

Напрасно австрийский генерал Галлер, приведший в Польшу с австрийского фронта образцовые войска, отговаривал Иосифа Пилсудского. Галлер не знал России, но «лучше не ходить к этому зверю в берлогу». Пилсудский знал не только Россию, но все ее «фонарные переулки»; и все же отговорить его было нельзя: слишком слепящ свет у исторической рампы. К тому же Пилсудский возражал, и не без резонов: по данным польской разведки, красные все равно пойдут на Польшу, так лучше, не дожидая, самому нанести ошеломительный удар, после которого Россия не встанет.

Дымчатым, свежим апрелем просыпались в мокрой весне болота Полесья; не успевшие очухаться от шести лет идущего невероятного количества «истории» крестьяне собирались уже было выезжать пахать попорченную снарядами землю, но маршал Пилсудский открыл новую страницу истории.

Газеты возвестили: в Бельведере с головным атаманом украинских войск Симоном Петлюрой подписан договор об

освобождении Украины от красных и польским войскам отдан приказ двинуться на столицу Украины — Киев.

История началась. С наступающими войсками в поход пошел сам маршал Пилсудский; он и стратег, и политик, все его планы являются «не только военной, но и политической тайной». Напрасно генерал Галлер указывал, что даже 250-тысячная немецкая армия не смогла оккупировать Украину. 50 000 польских штыков и сабель пошли на Киев.

На фронт от лесной реки Словечна до села Милошевичи тронулась полесская группа полковника Рыбака; двинулась ударная группа легионеров генерала Ридза-Смиглого; высылают шенкелями коней польские шволежеры генерала Роммера, рысью мнут дороги на восток.

По гнилым полесским деревушкам, местечкам, опустошенным мировой войной, немецкой и русской оккупацией, шла армии. «Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами» — все промелькнули по Полесью, стремясь осуществить мечту маршала на востоке.

Марш-маневр развивался блестяще; кавалерийская бригада из группы полковника Рыбака в двое суток сделала 180 километров, а легионеры на грузовиках в сутки пронесли 80. Под натиском досыта накормленных, прекрасно снабженных Францией войск смялась, полетела, как пух, покатила 12-я красная армия. Даже напрасны стратегические ухищрения и весь военный талантище маршала. Занесенный над Киевом удар генерала Ридза-Смиглого пришелся впустую. Красные без боя ушли на левый берег прекрасной реки.

Уже 9 мая в тихую украинскую ночь польский генерал Ридза-Смиглый вошел без боя в столицу Украины; а 11-го на многосильной дымчатой французской машине, конвоируемый пышной военной свитой, в местечко Коленковичи прибыл сам маршал Пилсудский.

Но здесь, в Коленковичах, маршала охватило почти наполеоновское недовольство — русская тишина, в которой нет ни покорности, ни сопротивления. Ненавистная Россия молчит. Вся энергия красивого, «божественно» задуманного удара словно растворилась в этом просторе полей; это скифы.

В разбуженном звоне польских уланских сабель Кремле, в зале, где «Курить воспрещается», потому что глава России не переносит дыма, шли кипучие заседания Совнаркома. Во время перерывов в раскрытое во двор Кремля окно, глядя на Чудов монастырь, вывешивалась странная фигура наркоминдела Чичерина; метался в древних коридорах желчный, сгорбленный Троцкий; в соседней с залом

комнате стояли, курия в отдушину, наркомы. И снова сходились по звону председателя, споря о Польше и судьбе маршала Пилсудского.

Поляки — Мархлевский, Держинский, Кон — не хотят с Польшей воевать; сторонники немедленной социальной революции в России, они против экспериментов на живом теле Польши. Троцкий целиком с ними; середина наркомов, как всегда, в замешательстве, и только Ленин один прет, хочет русским штыком «прощупать панскую Польшу», да так, чтобы трубка вошла в Варшаву, а конец глянул, может быть, на Рейне. И Ленин в который раз увел за собой всех наркомов, бросив Россию на «бастион капиталистической Европы на востоке».

Не врасплох застали польские сабли Совнарком, только чуть-чуть раньше зазвенели, чем надо. Уже 20 апреля в Кремле на расширенном заседании Реввоенсовета главком «с усищами в аршин» С. С. Каменев вел разговоры с предреввоенсовета Троцким, кого дать командующим Западным фронтом, кто пригодится для удара по Европе?

А на следующем заседании под председательством того же желчного, с язвой в желудке Льва Троцкого уже присутствовал экстренно прибывший победителем с юга Тухачевский. Заседали — Троцкий, его помощник, напористый, оказавшийся внезапно военным, врач Склянский, Ворошилов, Фрунзе, Вацетис, Самойло, пышноусый, всегда полуклобляющийся главком С. С. Каменев, его талантливый, но в тени начштаба П. П. Лебедев, слывший «Борисом Годуновым» при «Федоре Иоанновиче», украинские военные Подвойский, Затонский, все видные партийные военки и маршалы республики.

От имени правительства рассматривалось предложение объединить действующие на польском фронте войска под единым руководством. В обход склок, интриг, возрастов выставлялась кандидатура самого младшего, почти что мальчика, 27-летнего полководца Михаила Тухачевского, чьи статьи «Война мировая, война гражданская, война классовая» шли из номера в номер в «Правде». Это если еще не цветок пролетарской военной мысли, то во всяком случае многообещающая почка.

Троцкий, Склянский — Реввоенсовет, Каменев, Лебедев — главное командование, политбюро, старые царские генералы Поливанов, Зайончковский, Брусилов, декларировавшие отдачу своих шпаг советской власти против «исторического врага» — Польши, — все указали на Тухачевского; эту кандидатуру, долженствующую пропустить

штык сквозь Варшаву и Европу, чтоб пошевелить в европейских кишках, утвердил и Ильич.

Ответственный пост Михаил Тухачевский принял не колеблясь, напротив, считал себя единственно возможным кандидатом; ведь именно он в расчете на мировую революцию писал книгу о тактике гражданских войн.

День накануне отъезда на Западный фронт Тухачевский провел в квартире главкома С. С. Каменева. Тут в кабинете хозяина долго возились над картами болот Полесья, скверных пашен и неудобной земли, на которую выехали уже было сеять смурьгие, безграмотные мужичонки, никакого толку в истории не понимающие и этой историей за шесть лет умученные.

За ужином после работ шутили, пришел и «Борис Годунов» отдохнуть от надоедлых разговоров с Троцким. «Борис Годунов» талантлив, тонок, в эту войну не верит: «Да не Польша, а Европа насыплет нам по первое число!» — говорит, улыбаясь.

Тухачевский тоже улыбается: кто ему насыплет?

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем! — смеется за ужином.

На прощанье же, совсем перед поездом, жена Сергея Сергеевича сыграла любимый «Марш милитэр» Шуберта, угостила любителя музыки, 27-летнего Мишу, вот уже два года живущего почти без музыки. Он просил отрывков из 9-й симфонии, но симфония оказалась трудна для пианистки; так с «Маршем милитэр», по-русски расцеловавшись с Сергеем Сергеевичем и «Борисом Годуновым», вышел из дома и сел в автомобиль командзап.

К командзапу Гиттису Михаил Тухачевский прибыл, окруженный Реввоенсоветом во главе с позднее прославившемся чекистом Уншлихтом. У Гиттиса был свой план контрудара на Польшу, силами 16-й армии под командой Н. Соллогуба предлагал ударить в направлении Гомель — Минск с форсированием Березины; 5-й армией поддерживать... Но не в манере Тухачевского брать чужие планы. План Гиттиса отпал вместе со сдачей командования. 27-летний полководец европейски работоспособен, в работе точен и по-русски оригинален в замыслах.

Перед Тухачевским открывалась свежая страница биографии, и какая! Фронт Европы, прорубить новое «окно», даже, пожалуй, не окно, по возможности пошире, дверь, а может быть, даже и хорошие такие воротница. Это как раз тот бонапартский момент, когда можно лечь спать «русским героем», а встать «европейским».

В командовании Тухачевского три красных армии: 16-я Н. Соллогуба (кажется, графа), 15-я Корка и Северная группа Сергеева. Командарм-16 Соллогуб и его начштаба Баторский предложили юному командзапу свой план контрудара, но и этот план отклонен Тухачевским. Он, любитель «таранной стратегии», в Москве, при советах Лебедева, разработал свой, очень русский и сокрушительный удар по Европе.

Уже вечером 1 мая начальник штаба Запфронта старый гентшабист Шварц телеграфировал командармам: главный удар будет нанесен из Полоцко-Витебского района, выполнение возлагается на командарма-15 Корка; 16-я армия Соллогуба нанесет вспомогательный удар на Березине, который с прибытием резервов разовьется тоже до размеров решающей операции.

Прямой провод командзапа с главкомом работал не переставая. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич, здесь командзап...» — «Здравствуйте, Михаил Николаевич...» Вся Россия напряглась до предела, с высоты Кремля над ней сам Ленин крикнул: «Раз дело дошло до войны, все интересы страны должны быть подчинены войне!»

Кремль умеет напрягать даже нищую, голодную, разоренную страну. На Западный фронт брошены кадры коммунистов: военные трибуналы заработали по суровейшим директивам. «Смертельная угроза, нависшая над рабоче-крестьянской Республикой, влечет за собой неминуемую угрозу смерти всем, кто не выполняет своего воинского долга! Эгоистические, шкурнические элементы армии должны на опыте убедиться, что смерть ждет в тылу того, кто изменнически пытается уйти от нее на фронте! Настал час жестокой расправы с дезертирами! — писал тогда всемогущий предреввоенсовета Троцкий из купе снова тронувшего бывшего царского поезда. — Неряшливость, медлительность, непредусмотрительность, тем более трусость и шкурничество будут выжжены каленым железом! Западный фронт должен встряхнуться сверху донизу!»

Тухачевский как раз выпечен из этого деспотического теста. 27-летний командзап готовит «таран» для Европы не керенскими фразами, а ревтрибуналами и расстрелами. Вместе с Уншлихтом ожелезил фронт. Из одних только дезертиров согнал 100-тысячную армию. Взлом Польши требует мощных и решающих сил. «Чернь одна — ничто и ничего не может, но со мной может все!» — говаривал Наполеон.

Органы политуправления без усталости «овладевают душами». На фронте проведено — 400 митингов, 144 лекции,

611 собеседований, 69 концертов, 139 спектаклей; листовки, летучки миллионным тиражом наводняют вражеские и свои позиции. 27-летний полководец славится кроме побед умением четко наладить армейскую работу. «Красный кулак» для ответа маршалу Пилсудскому, для взлома его Польши готов.

Майское небо безоблачно. Тухачевский объезжал фронт, на его «Здравствуйте, товарищи!» гремит «Служим революции!». Ночи теплые, звездные; по ночам в резервах поют красноармейцы, что «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее!» Скачут ординарцы, прыгая по плохим дорогам, сумасшедшим ходом мчатся в штабы мотоциклы и автомобили. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич, у аппарата командзап...» — «Здравствуйте, Михаил Николаевич...»

14 мая 1920 года, когда маршал Пилсудский еще сидел в беломазаной хате в селе Коленковичи, Тухачевский уже отдал приказ «красному кулаку» о начале протаранивания польского фронта.

От Западной Двины до впадающей в Днепр Березины тронулись русские войска; тронулась 15-я армия Корка, застревая левым флангом в болотистых верховьях Березины; против польских генералов Жигалдовича и Шептицкого удачно переправилась через Двину ударная группа Сергеева, пошла, выдвигаясь на одну высоту с правым флангом 15-й армии; Тухачевский нацелил Сергеева на Брацлав. Задержался только, перебрасывая части, командарм-16 Соллогуб, лишь 19-го переправил дивизию через Березину.

Русская пространственная топь, наконец, проснулась. «Искусство войны — это божественное искусство».

По первым донесениям генералов Пилсудский понял планы военного соперника Тухачевского, тоже считающего искусство войны искусством богов. Польская кавалерия, «уланы с пестрыми значками», драгуны, гусары, пошли на рысях по польским шоссе; поехали на грузовиках legionеры резервов; маршал быстрым контрманевром пытается парировать планы Тухачевского.

Тающим, туманным рассветом передовые части войск 16-й армии, смутно звякая штыками, шли-пылили к Березине. На синей реке стояли лодки; первым пошел грузиться 147-й пехотный полк; плавная Березина стала вдруг покрываться то тут, то там войсками; южнее деревни Мурово плыл 145-й пехотный полк на деревню Черновичи; у устья Маныча поплыла 51-я бригада, 22-я подходила к Березине у устья реки Брусята.

Над красной пехотой в рассвете поднялась, журавлиным клином полетела, свертывая на юг к реке Бобру, эскадрилья красных аэропланов. Еще тихо. Летчики глядели вниз: муравьиными массами скапливались войска на огромном болотистом пространстве Полесья; кое-где полянка, уплывает группа крестьянских дворов, тишина, болота, леса, белеют густые туманы облаков.

На Березине понтоны наводили спешно мосты, переругивались на реке солдаты, толпясь, умащиваясь в лодки; в раннем утреннике разорвались, затрещали под деревушкой Жуковец первые перекаты ружей; русские сошлись с польскими авангардами, завязали начало боя-взлома польского фронта, разработанного Тухачевским.

Уж сменился взрыв ружей над болотами беспрестанным гулом, аэропланы приняли участие в бою, снижаются, открывая пулеметный огонь.

Ожесточенный бой разыгрался на Березине; то русские теснят поляков, то поляки прижимают русских вплотную, сбрасывают в Березину. Шесть дней шел боевой гул, на седьмой подошли свежие польские подкрепления и дали перевес маршалу Пилсудскому над Тухачевским.

По всему фронту с тяжелейшими потерями отступала сломанная 16-я армия Соллогуба. А ведь две недели назад к ее фронту подкатил защитного цвета автомобиль предреввоенсовета Троцкого, и желтый, сгорбленный, тщедушный человек в пенсне вылез из автомобиля. На шоссе и прилегающих полях в необъятное каре собраны массы войск. Каре видело, как человек в пенсне, с трясущейся шевелюрой, полез на крышу автомобиля. С нее предреввоенсовета кричал не своим, сиплым, разрывающимся в ветру голосом не совсем понятные речи. Понятно стало, только как кончил: «Вперед на врага! Удар за ударом до полного разгрома, до полной победы! Настроение широких масс блестящее! Никто из нас не сомневается в непреодолимости нашего натиска!»

Невдалеке Соллогуб и Баторский тихо переругивались грандиозности митинга и всей словесной демонстрации предреввоенсовета. Были правы: уж в середине речи желчного предреввоенсовета, жужжа и стеная в голубом небе, над колоссальным невиданным митингом войск показались польские аэропланы. Закружились плавно, как коршуны, вглядываясь в необычную военную картину. Командарм Соллогуб темнел, ругался старорежимными матерными словами.

На аэроплан указали и садившемуся в запылившуюся машину Троцкому. Он взглянул сквозь пенсне и тоже вы-

ругал окруживших его представителей политорганов армии, которые, оказывается, перестарались, собрав смотр-митинг для Троцкого на глазах у врага. Но таков уж был трепет перед «Робеспьером». Никто не осмелился даже объяснить ему, что 108 лет назад эту же самую Березину, о которой советская рекогносцировка доносит, что место сие ничуть за 108 лет не изменилось, — Наполеон тоже переходил, но и без речи, и без митинга.

В неудачной битве на Березине погибло несметное количество крестьян и рабочих, солдат армии III Интернационала. Сильная машина Троцкого металась по тылам, подымая дух; и такая ж машина несла маршала Пилсудского из Коленковичей в Бельведер, в Варшаву.

В Бельведере — решающее заседание польского командования. Несмотря на пышность и присутствие французских генералов, оно было взволнованно. Генералы Развадовский, Сикорский, Шептицкий, Галлер, Скерский говорили о ненадежном моральном состоянии польских войск, о громадном впечатлении в войсках от удара Тухачевского. «Под влиянием этого удара, — говорил Пилсудский, — заколебались характеры, размякли сердца солдат, и начал за внешним фронтом образовываться фронт внутренний». Генерал Шептицкий заговорил даже о возможности мирных предложений.

Но Пилсудский не раз в жизни лез в петлю головой; и уж если начата игра, то не о мире должна быть речь; даже в трусости упрекнул генерала Шептицкого и, разгрузив, снял с командования 4-й армии, назначив вместо него отличившегося в майских боях Скерского. Кто знает, может быть, и подняла бы непреклонность Пилсудского общее настроение, но радио Бельведера приняло совершенно неожиданное и ошеломляющее известие: покрытая легендами 1-я Конная армия Буденного ударила от Староконстантинова на Изяслав, опрокинула, прорвала польский фронт, режет тылы, грозя всему фронту страшной катастрофой.

«Для людей, слабых духом, — писал польский военный обозреватель полковник Артишевский, — уже самая фамилия «Буденный» была страшилищем. Старый казак, сросшийся с конем, привыкший к разбоям и грабежу, войной и революцией развращенный до последних переделов», — Буденный парализовал все планы Пилсудского, вселив в генералитет нечто близкое к панике.

При всесокрушающем таранном ударе по Европе Тухачевскому мало показалось Кавказского конного корпуса Гая, у Каменева требовал к себе в таран и знаменитую

Конармию Буденного. И вот в 17 000 сабель, 48 орудий, 5 бронепоездов, 8 бронеавтомобилей и 12 самолетов пришла с Кавказа походным порядком долгожданная Конармия и сразу лихим азиатским ударом прорвала польский фронт в районе Сквир — Самгородок.

— Даешь Европу! — ревели буденовцы. Лозунг, родившийся случайно, был страшен тем, что подхватывался действительно широчайшими русскими солдатскими массами. Он выражал сущность всего таранного удара Михаила Тухачевского, поведшего в 1920 году на Европу русские войска.

Как ни грустно признать, этот лозунг, оброненный старым царским вахмистром Приморско-драгунского полка, крепким хозяином в своей коннице Семеном Буденным и подхваченный армией, ведет свое начало из публичного дома. Там он звучал несколько иначе: «Даешь б...ь!» Но когда, снявшись с Кавказа во главе легендарной, покрытой неувядаемой славой шашечной рубки Первой Конной, Буденный молодо и молодцевато, несмотря на «под пятьдесят», поднялся на седло и тронулся походным порядком по степям взламывать «бастион капиталистической Европы»: он подарил именно такое, без всяких прикрас, звучное название Европе. Российский Мюрат, как и все Мюраты, любит красочность.

Громадной брешью в 80 километров разорвав польские армии, безоглядным марш-маршем Буденный бросился в польский тыл, сметая на пути все, что попадалось. Это вовсе не армия. Разношерстная, в штатских пальто, в шубах, в лаптях, в шегольских шевровых сапогах, снятых с расстрелянных на Дону офицеров, в гусарских чикчирах, папахах, шлемах, с драгоценными кавказскими шашками, в опорках, в английских толстоподметных ботинках на босу ногу, добытых в южных боях, это — народ, посаженный на коня, но и народ совершенно особый.

«Нищая рвань со всего Лангедока и Прованса под предводительством босяка-генерала» — так писали современники о санкюлотской армии Наполеона. «Только беззаветная храбрость и веселость армии равнялись ее бедности. Люди смеялись и пели весь день», — вспоминал Стендаль.

Идущие на Европу войска Тухачевского были очень похожи на санкюлотские армии Наполеона.

Головным отрядом Конармии неслась кавбригада легендарного Котовского. В желтой отороченной мехом куртке, в красной сияющей фуражке, правая рука в бок — вот он, Григорий Котовский, никогда даже не бывший военным, лихой партизан, воскресивший Дениса Давыдова.

Кто он? Дворянин, анархист, бретер, авантюрист, убийца помещиков, поджигатель имений, каторжник, любитель музыки, герой бульварнейших романов, отчаянный русский человек из Молдавии, о котором по югу России ходят легенды и песни, неуловимый преступник, которого годами ловила царская полиция. С ним — кавалерист-солдат, помощник комбрига хохол Криворучко, покрытый запорожскими шутками и анекдотами.

Рваны, грязны бойцы, народ, севший на коня, но что за кони в кавбригаде Григория Ивановича Котовского! Конь к коню на подбор! На вороном с синим отливом жеребце скачет Котовский, плотный красивый силач, мускулистый, черный, с крепким затылком, крутым подбородком, темными властными глазами. В этом красивом лице героя тысячи уголовных авантур и политических приключений есть, пожалуй, даже и грусть. Но не попадайся Григорию Котовскому под руку; все одесские бандиты говорят, что Григория Ивановича ни на мат, ни на бас не возьмешь.

Сам, скрепя сердце, собственноручно расстреливает своих бандитов Котовский, держит банду в крепкой узде. Потому и радуются жители городков и местечек, когда въезжает Котовский, не позволит разграбить дотла, как, «случается» грабит красная конница.

Перед атакой приказывает банде, не верившей ни в черта, ни в дьявола, не нажираться.

— Дддурачье, — кричит, заикаясь, — ррразве ж мможно жжжрать? Ппппопадет ппуля в жжживот, и бббаста!

Из Бельведера летели приказы отступать с киевского направления. Но хорошо сказать — отступать, когда, прорвав фронт, маршем, гиком, свистом несется в тылу семнадцать тысяч буденновских сабель.

С Буденным на вороном белоногом жеребце — Клим Ворошилов и бывший царский генерал Ключев, но не рад даже этому взлому Буденный, жалуется генералу:

— Да чего тут сделаешь в 17 тысяч сабель, ну, бьем белополяков, так их растак, бьем! Вот бы в мировую, когда конницы триста тысяч было, дали б мне эти сорок дивизий, да поехал бы я с ними по глубоким тылам, черт бы взял меня тогда Людендорф! Дай мне, Клим, триста тысяч бойцов, да я этот польский коридор копытами разомну!

Ворошилов скачет на белоногом жеребце, только посмеивается:

— Воынишь, Семен, дорвемся и до коридоров..

17 000 конницы смешали карты маршала в Бельведере. Французский советник генерал Анри может только констатировать небывалость такой конной операции со времен Наполеона и крах польской военной доктрины кордонной обороны, явившейся наследием мировой войны.

С отчаянием отбиваясь в арьергардных боях, отходила 3-я польская армия генерала Ридза-Смиглого. А прямой провод гудел: пышноусый Сергей Сергеевич нетерпеливо осведомляется, готов ли у Михаила Николаевича главнейший удар-таран по Европе. Да, Тухачевский оправился уже от неудачи Соллогуба на Березине, и главный удар Пилсудскому готов.

Из последних сил над Горынью, начиная от Изяслава, пыталась остановить ошарашивающий напор разномастных буденовцев польская кавалерия генерала Роммера. Но вдруг над польским фронтом разразился новый, да такой гром, что в Бельведере не только у польских, но даже у выдавших виды французских генералов дух захватило.

Прочитав в седле, на лету, Буденный только захохотал:

— Мишка Тухачевский, так растак его мать, наконец раскачался!

4 июля, оставляя в силе основную идею майского наступления, последовательно упираясь правым флангом в Литву и Восточную Пруссию, Тухачевский ударил новым ударом, рассчитывая утопить польские силы в болотах Полесья.

По-русски налетел Буденный, по-русски сногшибающе протаранил поляков и Тухачевский кулаком в 100 000 красных штыков и сабель. Теперь уж двинул пять групп войск — 4-я армия Сергеева на фронте Дрисса — озеро Большая Ельня — Жадо; левее 15-я армия Корка, 3-я Лазаревича, 16-я Соллогуба и Мозырская группа ставшего военным саратовского парикмахера Хвесина.

Удар в лоб лучшей 1-й польской армии генерала Жигалдовича обрушился с страшной силой; дрогнула группа генерала Ржондковского; у озера Долгое на реке Березине смялся генерал Енджеевский, да так покатился на запад, что потерял даже связь с Ржондковским.

В 5 часов началось наступление, а к 7 утра, когда выплыло над болотами бледное солнце, красные войска были уже в 15 километрах за линией фронта.

Все попытки польских контратак разбивались о сметающую лавину наступления. Красная артиллерия была ураганом, словно от радости победы сошла с ума; артиллеристы вылетали вперед цепей, не снимаясь с передков, били по

полям прямой наводкой. Эскадрильи аэропланов гудели над катящимся фронтом. Тухачевскому таран удался.

Пилсудскому не оставалось ничего, как отдать приказ об отступлении. Маршал приказывал только, загнув левый фланг фронта, оборонять во что бы то ни стало, не отдавать Вильно.

Любитель Бетховена, мастер скрипки, эстет Михаил Тухачевский не знает ни дня ни ночи. «Искусство войны — это божественное искусство». Красиво маневрируя ударами на севере и на юге, Тухачевский бросил в бой уже все свои армии, запустив с севера в отчаянную рубку 3-й Конный корпус соперника славы Буденного Гая.

Поляки рухнули именно так, как полагал крушение Тухачевский. Даже, пожалуй, не ожидал таких размеров. Уже далеко от Березины бегут по всему фронту поляки. Тухачевский передвигается за фронтом; красные подходят к Минску, несутся иступленные крики: «Даешь Минск!» Скачут за войсками в тачанках комиссары, подогревают распоясавшуюся в ударе армию.

Ежечасно радиобашня Кремля принимает победы: пали Минск, Вильно, Слоним, Волковыск, Оссовец. 60 километров в сутки идет армия Тухачевского, на севере с Гаем, на юге с Буденным; стоит на полях гречихи и ржи один дикий, истошный вопль обезумевших в военном успехе русской конницы и пехоты.

Уж форсирует красная конница Неман там, где форсировал его когда-то Наполеон, и обтекает крепость Гродно со всех сторон. По прямому проводу течет нервный разговор маршала Пилсудского с генералом Сикорским: может ли продержаться на участке Сикорского крепость Брест хотя бы дней 10 до прихода подкреплений? Генерал Сикорский уверяет, что 20 дней продержится крепость, обломают об нее красные зубы.

И в тот же день три дивизии 16-й армии Соллогуба с размаху штурмом берут сильнейший брестский форт Режицу, а ночью «одоленные души» за фронтом, польские коммунисты, провели штурмующие красные войска в цитадель крепости, где работал штаб командующего полесской группой.

В крепости паника, ворвавшиеся перебили штаб, убили квартирмейстера штаба майора Мерака. Стоит крик отчаянной радости «Даешь Варшаву!».

Потрясенный польский стратег генерал Сикорский, узнав о падении Бреста, понял, что желание маршала — наступать от Буга — неосуществимо; войска панически бегут, едут на грузовиках к Висле.

А по русскому фронту гремит крик «Даешь!». Заседание Коминтерна под председательством Раковского ликует в Харькове, запросив фронт о положении дел — в ответ пришла телеграмма: «Товарищи Тухачевский и Смилга выехали в Варшаву!»

Теперь понял мир, что красный штурм на Варшаву по 60 верст в день — это штурм на старую Европу и русские штыки действительно выйдут на Рейне. В палате общин Ллойд Джордж взволнованно поносит таланты Пилсудского. «Польша заслужила наказание! Польская армия могла бы отразить врага, если б во главе ее стояли опытные и способные люди!» Союзные министры Бонар Лоу и граф Сфорца называют поход Пилсудского «печальной ошибкой».

А за армиями Тухачевского уже едет первое советское польское правительство — негнувшийся вождь ВЧК Феликс Дзержинский, каторжанин Феликс Кон и друг детства Пилсудского Ю. Мархлевский. Может быть, Москва Тухачевского готовит и еще для кого-нибудь по советскому правительству? Да, это штурм, колеблющий и сотрясающий мир, именно о таком и думал в плену Михаил Тухачевский. В нем сплелись мечты Ленина о мировой революции и мечты Тухачевского о мировом деспотизме.

По выражению французского генерала Фори, Тухачевский уже воюет с Версальским договором; он заслал в польский коридор Конный корпус Гая смять копытами параграф Версаля. По коридору раздался топот русской конницы. Зашаталась рабочая Германия и Польша «одоленными душами». В Англии образовались рабочие «Советы действия» для оказания сопротивления попыткам вооруженного вмешательства в советско-польскую борьбу. В Германии и Чехии рабочие отказываются грузить и пропускать для Польши военные грузы.

Войска Тухачевского текут красной лавой зажечь «пожар на горе всем буржуям!». Тухачевский идет по указу Ленина разрушать всю международную систему и «перекроить карту мира». Поэтому на взволнованные просьбы Пилсудского о помощи в бастион Европы на востоке, из Парижа в Варшаву, прибыл начальник штаба маршала Фоша, вице-президент высшего военного совета генерал Вейган с штабом офицеров.

Малого, оказывается, хотел гвардии поручик Тухачевский: быть в 30 лет генералом. Не достигнув 30, колебнул мир и вышел на историческую арену; он оценен по заслугам уже не только польскими и французскими генералами, но и самим маршалом Франции Фошем. Недаром генерал

Вейган так торопится встречать его под Варшавой, а радиобашня Кремля 12 июля услышала «голос» самого лорда Керзона, когда таран Тухачевского грозил показаться на берегах Рейна.

Оплот победившей Европы, Англия слала Кремлю предложение посредничества по заключению мира. Но Ленин был таким же русским человеком, как Тухачевский. Ему возражали Дзержинский, Троцкий, Мархлевский, Зиновьев, Каменев, а Ленин хочет прощупать штыком панскую Польшу — и баста! Нота блестящего английского лорда отвергнута. Тухачевский прет на Варшаву, хоть вся санкт-лотская армия тоже русская, и ею уж трудно управлять: таран ожил и сам пошел. Да и российский Мюрат Буденный — не француз: ему приказывает главком поворотить во что бы то ни стало к северу на поддержку боя Тухачевского за Варшаву, а он плюет на приказы, вместе с Ворошиловым, на страх и риск Сталина и Егорова, полным аллюром летит-несется во Львов.

— Эх, была не была, история раз в жизни делается, Мишка Тухачевский, «барин», Варшаву берет! — И Буденный сыплет на Львов. Сталин с Егоровым только отругиваются от главкома, припускают Буденному рыси. Но еще со времени походов Богдана Хмельницкого Львов был тем «гиблым местом», на котором «кажинный раз» спотыкались русские армии.

Вся русскость войны со всей требухой вышла наружу. По прямым проводам идет крик и брань у Каменева с командюгозапом Егоровым, Сталиным: «Тухачевский не выдержит, свертывайте Буденного с Львова на Варшаву!» А югозапфронт только отругивается от главкома. Без всякого удержу, без узды, Азией, наводнением несутся русские армии на Европу. Вожжи главкома Сергея Сергеевича упали к земле, и где уж их там подбирать да маневрировать. Фронт командзапа Тухачевского расклебался, тонок, бьется командзап над маневрами, перенес ставку в Минск, сюда же экстренно принес поезд Каменева. Торопится схватить Варшаву под уздцы. Но русский пир, по обычаю, начался раньше, чем успели сесть за стол.

Уже в двух переходах от столицы воскресшей Польши красные войска. В окруженном автомобилями, конными ординарцами, мотоциклами Бельведере заседания военного штаба без перерыва. Но с первого дня натянулись отношения генерала Вейгана и его штаба с «паном Володыевским»; предпочитают даже не разговаривать, а переписываться «нотами».

Под Варшавой у Вислы слышны тяжкие вздохи артиллерии; это пошли бои в 25 километрах от города. Это исполнение последнего приказа Тухачевского, отданного в Минске: «Противник по всему фронту продолжает отступление. Приказываю окончательно разбить его и, форсировав Вислу, отбросить».

Куда? За Варшаву!

Над Варшавой дымной градовой тучей азиатского хаоса нависли армии III Интернационала, они скоро ворвутся в столицу Польши. На позиции ездят польские горячие юноши на трамвае 86, а в Бельведере полное расстройство и славянское отчаяние перед славянской неистовостью.

— Все комбинации дают ничтожное количество сил, бессмыслицу исходных данных, безумие бессилия или чрезмерный риск, перед которым отступает логика! — так отвечает сам начальник государства, главнокомандующий польских войск маршал Пилсудский на предложения генерала Сикорского.

Маршал Пилсудский позднее написал, что «заперся в кабинете и три дня не выходил ни к кому от мучительнейших размышлений».

«Славянский старый спор» у бастиона Европы для Пилсудского и Тухачевского решился бы, вероятно, иначе, если б не засел в Бельведере экстренно прибывший престарелый генерал Вейган.

Последний охват-маневр Тухачевского под Варшавой был разгадан не польскими генералами и не пришедшим в отчаяние Пилсудским; его отставки от военного командования открыто теперь требовали варшавские газеты. Это генерал Вейган особенно пристально рассматривал участок северного фронта под Варшавой и один в своих «нотах» высказывал «пану Володыевскому» опасения: не замышляет ли Тухачевский именно тут решающий удар и генеральное сражение за Варшаву?

— План маршала Пилсудского основан на неправильном представлении о группировке красных войск. Несогласно с маршалом Пилсудским я полагаю, что сильный кулак красных войск находится где-то севернее Западного Буга, но пока еще не отдаю себе ясного отчета где, — указывал генерал Вейган польскому командованию, отношения с которым больше чем «холодны».

— Стремительность и быстрота взлома польского фронта красными расстроили польскую армию, но они не должны расстраивать нас. План маршала Пилсудского я считаю

скорее жестом отчаяния, чем плодом холодного расчета, — переписываются «нотами» генералы.

А бои идут под самой Варшавой. Глупая, горячая молодежь бежит, едет на трамваях спасать Пилсудского от позора. Тяжело вздыхает за Прагой артиллерия, жестокие кровопролитные бои идут под Радимином, всего в 23 километрах от Бельведера, и Радимин колеблется под русским напором.

Радиостанцией Бельведера перехвачен приказ Тухачевского 5-й армии Корка. Но это уже не приказ, а удар грома: с утра 14 августа древняя польская столица будет концентрически атакована тремя красными русскими армиями.

14 августа, осенний, прохладный день; по всей линии фронта повел Тухачевский бой. Время над Варшавой поплыло медленно, разрываемое артиллерийским гулом и взрывами ружей, замиравшими в жуткую тишину; это красные и белополяки бросаются в рукопашную.

Уже утром по началу операции Тухачевского генерал Вейган понял, что он прав. Тухачевский пытается взломать польский фронт именно на тех неожиданных рубежах, которыми пренебрегал маршал Пилсудский и удержать которые генерал Вейган счел необходимым условием для развертывания под Варшавой контрманевра.

15-я армия Корка уже форсировала, как предполагал генерал Вейган, реку Вкру на участке 5-й польской армии, а под Радимином глубоким журавлиным клином врываються красные в польский фронт. На северном крыле поляков 4-я красная армия выиграла наружный фланг северного крыла. Генерал Развадовский просит ускорить контрнаступление его частей, но Пилсудский по настоянию Вейгана оставляет в силе прежний срок контрманевра: 16 августа.

В два дня, в две ночи вот-вот задохнется Варшава, рухнет Польша, и Ленин перевернет страницу истории. Но оторванные от базы красные, маршем прошедшие сотни верст, докатились до столицы Польши только под угаром. Они уже бессильны, жив только «дух», да еще напрягает последние силы Тухачевский; сломить, свалить Европу обессиленными красными бойцами. Но уж наносить точно задуманные удары трудно, весь успех всей войны — в часах, в минутах; не разгадают план, не удержат с севера Варшаву, взята Варшава, победила русская революция, и въезжает вельможный польский шляхтич Феликс Дзержинский на место вельможного польского шляхтича Иосифа Пилсудского; а там — Берлин, Париж, Лондон, заветное «Даешь Европу!». А — разгадают, и, вероятно, — поражение.

Разгадала Европа, разгадал генерал Вейган.

15 августа поддержал Сикорского, не поддался на просьбу командующего северным фронтом генерала Галлера, оставив заслон на реке Вкра, повернуть главные силы на севере в сторону Плонска. Напрасно 15 августа метался Тухачевский, требуя усиления группировки правого фланга 3-й армии, давал указания о повороте на фронт Сахоцин — Закорчим главных сил 4-й и требовал быстрее, немедленного поворота на Варшаву Буденного. После тучи телеграмм Буденный уже бросил «львовскую приманку», свернул, несется на помощь Тухачевскому, да поздно. Напряжение обеих сторон достигло момента, когда чье-нибудь должно уже пасть.

Генерал Фори считал по началу операции на Висле судьбу Пилсудского обреченной, стратегическое положение безнадежным, а моральное состояние польского войска со всеми грозными симптомами разложения и гибели. Из Варшавы бегут обыватели, задыхаются, уходят поезда. И все же генералу Вейгану ясно: Тухачевский мечется из последних сил.

С севера пытается Тухачевский опрокинуть врага, сломить, ворваться в Варшаву. Но именно этот участок защищен логикой и опытом генерала Вейгана. 16 августа Вейган сказал польским генералам: «Теперь вы получите свою Марну, надо начинать контрманевр».

Тухачевский понял этот контрманевр. Просьбы о Первой Конной стали похожи на отчаяние. Буденный должен молниеносно скакать, спасти всю войну, всю крупнейшую ставку на мировую революцию. Телеграмма за телеграммой: Первая Конная свернула на Люблин, Первая Конная идет на Замостье. Но время — жестокая вещь, генерал Вейган уже совершил «чудо на Висле». Под Плонском уже двинулись в наступление поляки, и первый раз за всю войну дрогнули под стенами Варшавы красные. Что случилось? Сломилось главное — русская отчаянность, уверенность в победе, и с ней у поляков вспыхнула та же славянская вера в успех.

Сильно вонзилась 4-я польская армия в Мозырскую группу красных, и от этого рассчитанного удара треснула группа Хвесина внезапным пораженьем, дрогнула и начала отступление. Крякали, гудели телефоны в минском штабе командзапа Тухачевского: фронт прорван. Хвесин отступает. Где же Буденный? Конармия на рысях идет, но уже не к Варшаве, а к пораженью, потому что Хвесин обнажил весь тыл южной армии Соллогуба, стоявшей под самыми стенами Варшавы.

Донесения в Минске одно отчаянней другого: Соллогуб отступает, Хвесин открыл фронт, поляки развивают успех, уже выходят на шоссе Брест — Варшава, взяты в плен 12 000 красных, 50 орудий, на севере генерал Вейган отрезал, запер Гая, ворвавшегося в польский коридор для войны с Версалем.

3-я армия Жилинского, 5-я Сикорского уж зажали в стремительном наступлении 4-ю красную, и гарнизон Варшавы пошел наступлением. Всем туловищем увяз под Варшавой Михаил Тухачевский. «Отступать! Назад!» — несетя из Минска. Но и отступление заварилось, как наступление.

Это уже неслыханная, азиатская катастрофа: в беспорядке сдаваясь в плен, бросая обозы, орудия, раненых, русские хлынули на восток, разбившись о бастион Европы.

Но теперь по-славянски зашумели польские генералы. Польская армия кинулась в бешеное, стремительное преследование, а русские побежали с польской быстротой. Подспела было Первая Конная с кавбригадой Котовского, пошли в отчаянный русский бой у Замостья. И уж доносит было знаменитыми донесениями-рапортами Криворучко:

— Учепився у ср...

Рубится лихо командир полка Криворучко, летят перерубленные польские руки, русские головы, в шашки сошлись славянские враги — буденовцы с польскими уланами генерала Станислава Галлера. Берут буденовцы верх, шлет Криворучко Котовскому к главным силам:

— Одидрав частыну ср... Добираюсь до пупа.

Но теперь озверели и поляки Галлера, взяли в сабельные клещи Первую Конную, рубят. И последнюю реляцию шлет Криворучко:

— Гвалт!

Морем, гулом, грабежом, кровью хлещет русская армия назад по тем же самым местам, по которым ходили в мировую войну взад-вперед немцы и русские. Впереди армии из Минска идет штабной поезд Тухачевского, в поезде есть и купе с недоделанной скрипкой, подпилки, грифы, фуганки, струны, но сейчас не до скрипок командзапу. Вихрем, симфонией развала, грабежа, отчаянием хлещет русская стихия, исполосованная войной. Даешь Европу? Европа пока что не далась.

В штабном поезде сумрачный отступает полководец разбитых армий; от них жалкие остатки: в 3-й и 16-й по несколько тысяч, а 4-я Сергеева и 15-я Корка перестали существовать. Опередил Тухачевского обратным движением

поезд советского польского правительства с Дзержинским, Коном, Мархлевским, Тухачевский движется туда же, к Кремлю, где противники войны уверяли русского Ленина, что с Польшей нужна осторожность, что Польша не Россия.

Остатки разбитых армий в беге уже вышли из соприкосновения с противником. Пропал только слава фронта Тухачевского, соперник Буденного, овеванный легендами 3-й Кавказский конный корпус Гая. Прижатый поляками к Германии, он еще бьется, не хочет переходить границу Пруссии.

— Храбцы мои! Не сдаваться, не складывать оружия! — кричит неукротимый Гай, скачет перед выстроенными бойцами, матерится солеными ругательствами, русскими и армянскими. — Не отчаивайся, храбцы мои! Мы еще прорвемся через эту польскую калечь!

К ночи, прихватив с собой несколько рот коммунистов на тачанках, бросился Гай с Кавказским конным корпусом на Млаву прорубаться назад, на родину, сквозь польскую конницу и пехоту.

С изумлением и восхищением наблюдали эту последнюю страницу славянского боя полные славных военных реминисценций французские генералы. На головные дивизии 5-й польской армии, прижавшей корпус Гая, в конном строю во главе всего корпуса бросился Гай. На бешеном карьере, рубя шашками направо и налево, текинцы, казаки, калмыки, черкесы Гая прорезали себе дорогу на родину, наводя ужас на польские войска, которые называли Гая — Гай-ханом.

Вырвался из 5-й армии Гай на вольный простор, пошел было по Польше, но ненадолго. Окружила новая 4-я польская армия. И снова густой лавой несется в атаке конница Гая, воскрешая наполеоновские времена: уничтожила 49-й полк, прорубается сквозь 19-ю дивизию у Грабова, но здесь за Грабовом опять перерезал Гаю путь подоспевший 202-й полк.

Лавой бросился с конниками Гай, прорываясь сквозь пулеметы и цепи польской пехоты. Прорвался в третий раз, оставив на поле только раненых, да за ним, за корпусом, несущихся без всадников коней.

Маневрируя по знакомой местности, неся Гай. Но через два дня наткнулся на новый заслон — капкан польской пехоты. У местечка Хоржеле встретили Гая крепкие стойкие части: два полка «сибирских» поляков. Целый день рубился Гай, к сумеркам пробился, уходя дальше карьером на восток.

Поймать Гая — дело польской чести. Уланы, шволежеры пошли ловить калмыцко-кавказскую казацкую конницу. Путь от Хоржеле перерезали две армии — 4-я и 2-я.

Уже у Гая ни патронов, ни снарядов, лишь окровавленные в рубке шашки. Но все ж и в неравный бой вступил у Кольно с поляками Гай.

Двое суток яростно атакывал, прорывал одну за другой польские линии, но наткнулся на новые, превосходящие численно части густых пехотных колонн; 25 августа после десятидневных конных боев снова прижали поляки Гая к границам Восточной Пруссии, и ничего не осталось ему, как перейти прусскую границу.

В 1920 году гаевцы жили под Берлином в лагере Вюнсдорф; приезжая в столицу Германии, на улицах, как вкопанные, останавливались перед идущими по Курфюрстендамм живыми буржуями. Этого, увы, в России уже не водилось.

Но не удалось гаевцам расправиться с Европой по-своему. Сотворил на восточном бастионе генерал Вейган «чудо на Висле»; а уж если бы не сотворил, показал бы М. Н. Тухачевский миру, что такое «марксистские формулы» на буденновском языке.

Военные специалисты говорят: красные «прошли кульминационный момент победы, не заметив его».

ВОССТАНИЕ КРОНШТАДТА

Поражение под Варшавой Тухачевским переживалось тяжело; это первое поражение за всю блестящую карьеру; и поражение не на фронте гражданской войны, где можно взять быстрый реванш; сорвалась гастроль на мировой сцене, и близкого реванша не предвиделось.

Головка Кремля и советские военачальники шумели, спорили о стратегической неудаче кампании. Троцкий сравнивал Сталина с генералом Рузским, обвиняя в такой же амбиции: самому во что бы то ни стало взять Львов, но не помочь Тухачевскому под Варшавой.

Егоров винил во всем «зарвавшегося Тухачевского»; Ворошилов — упустившего вожжи до земли главнокомандующего Каменева; Лебедев напоминал прогноз, что Европа насыплет; Тухачевский же написал книгу «Поход за Вислу», где обвинил всех военачальников: «Наша блестящая операция заставила дрожать весь мир, но она закончилась неудачей; главная причина нашего поражения заключалась в недостатке подготовки командующих войсками».

Может быть, Тухачевский и прав. Во всяком случае его талант признали французские генералы, и Пилсудский, вспоминая войну, в книге «1920 год» писал: «Столь длин-

ные марши, прерываемые к тому же боями, могут служить к чести как армии, так и ее руководителей. Особенно же нельзя отнести к числу средних величин и посредственностей командующего, который имеет достаточно сил и энергии, воли и умения, чтобы проводить подобную работу»,

По заключении мира с Польшей в 1921 году боевая карьера красного маршала Тухачевского умирала: у красной России не было фронтов. Но русская история, хоть ненадолго, а пощадила Тухачевского. За три года большевистский Кремль, как неповоротливая кормилица, навалившись всем телом, оказывается, заспал-задушил революцию. И перед тем как задохнуться, ее все ж свело судорогами Кронштадтского восстания.

Это был парадокс. Революционный авангард авангардов, краеугольный камень Октября, кронштадтские матросы, которых Троцкий со свойственной ему безвкусицей назвал «красой и гордостью революции», этот 70-тысячный матросский гарнизон Кронштадта с оружием в руках поднялся против Кремля.

Ус залихватский закручен в форсе,
Прикладами гонят седых адмиралов
Вниз головой с моста в Гельсингфорсе!

Так в 1917 году воспел балтийских матросов Маяковский. Но, как Тулон восстал против конвента, ибо, захлебнувшись в терроре, не захотел лезть «в красную пасть Марата», так же не захотел лезть «в пасть Троцкого» и Кронштадт. Матросский террор 1917 года поднялся против кремлевского террора 1921 года.

«И революция наша сволочная, и революционеры наши сволочь... все возвращается к старому. Честным людям ни жить, ни работать нельзя», — говорил видный коммунист — рабочий Юрий Лутовинов, покончивший самоубийством.

Но военному вождю красного войска восстание Кронштадта предлагает лишь украсить грудь третьим орденом Красного Знамени и вплести лишний красный лавр. Этот лавр вплелся.

После польского поражения, срыва грандиозного удара по Европе презренье и ненависть Тухачевского заслужили не только малоталантливые военачальники, но и русский расхлябанный солдат, мужик и рабочий, не донесшие на своих штыках его победу до Варшавы, Берлина, Парижа, Лондона.

Именно поэтому так жесток и был красавец барин М. Н. Тухачевский в подавлении этого ж солдата и мужика, всколыхнувшегося в 1921 году восстанием против деспотии Кремля.

Это последнее восстание революционной анархии против революционной деспотии началось мужицкими волнениями по России, потом в Петрограде, где правил Петрокоммуной ненавидимый населением трусливый, с бабьим голосом и лицом провинциального тенора, всемогущий Гришка Зиновьев, оно вспыхнуло среди рабочих.

Уж в феврале начались рабочие митинги глухого недовольства политикой власти в деревнях; первым заговорил Трубочный завод; голодные рабочие пытались разграбить государственные склады, шумя против Гришки.

За Трубочным — Лаферм, Кабельный, Балтийский, зашумел весь Васильевский остров, понеслись злобные крики против террора власти в деревне, отбирающей расстрелами хлеб, против бюрократов-комиссаров, против «чеки».

Близко знающий Зиновьева Троцкий характеризует его как человека панического, в минуты опасности ложащегося на диван и поворачивающегося к стене в ожидании событий. Но Зиновьев, легши на диван, прекрасно понимал, что именно таким глухим недовольством, требованием хлеба и «смены министерства» начинаются все революции.

С дивана от председателя Петрокоммуны к Ленину и Троцкому в Кремль пошли тревожные телеграммы. А волнения приняли уж характер тяжко катящегося по голодной столице гуда. Заводы бастуют, призывают к выступленью, из Кронштадта едут матросы, с Васильевского острова движение перебросилось через невские мосты в город. Гришка занял спешно мосты отрядами курсантов и чекистов, но рабочие переправляются по льду, гудят, шумят, забастовала Государственная типография, Адмиралтейский завод, фабрика Бормана.

Это революция в революции. Последний голодный взлет издыхающей анархической мечты о «свободе» против сковавшей уже страну революционной деспотии.

В особняке Зиновьева день и ночь совещания. Гришка встал с дивана, хочет задушить волнения верными, сытыми войсками. Возле Гришки надежнейший комиссар Балтфлота Н. Н. Кузмин, но он привез тревожные сведения о Кронштадте. Матросы, те, что своей «Авророй» захватили большевикам Зимний дворец, те, к которым грозил уйти — «Уйду к матросам!» — кричал — Ленин, если на октябрьское восстание не решится головка партии, — эти матросы восстанут против власти Кремля.

В кремлевский въезд под Спасскую башню, где часы поют «Интернационал», а на башне забыт еще золоченый царский орел, к Троцкому уж въезжали автомобили воен-

ных; прибыли Каменев, Лебедев, Ворошилов, Тухачевский, царские генералы и офицеры.

Зиновьев просит в Петроград самые надежные части, чтоб подавить волнения в корне. В Петрограде бушуют рабочие, агитируют матросы, кронштадтские «краса и гордость», те, у которых «ус заливчатский закручен в форсе», кто разогнал «Учредилку». Но Троцкий уже выслал из Москвы по прямой как стрела Николаевской железной дороге эшелоны верных войск и отправил матросам в Кронштадт террористическую телеграмму-приказ: не «бузить» и подчиниться власти.

Блистательный гвардии поручик, красный маршал Тухачевский уж разрабатывает в своей московской квартире «на всякий случай план взятия Кронштадтской крепости» и подавления мятежного острова, если матросские волны не спадут.

В Кронштадт на уговоры матросов отправил Ленин не Гришку, которого там разорвут, а безобидного, чуть опереточного всероссийского старосту М. И. Калинина в сопровождении комиссара Балтфлота Кузмина; выяснить, чего ж хотят эти «иванморы», «клевшники» и «жоржики», у кого в октябре хотел приютиться Ленин против своих же товарищей.

Шумит, ревет островной город-крепость Кронштадт, необычаен. Тут семьдесят тысяч матросов бушует, да таких, каких не подмочишь лимонадом речей; это — старое гнездо, сердце революции, тут дело подавай, сами побывали в деревнях, в карательных отрядах, тут не обманешь, знают, как мужиков расстреливают, сами расстреливали.

С Финского залива несет ледяной ветер. Небо над Кронштадтом голубо, март. Заполнен город толпой, вышедшей посмотреть на голубое небо, на весенний день, потолкаться на матросских митингах.

Всюду кучи синих форм, фуражки с лентами, клеши, маузеры на боку, разговоры одни и те же: о волнениях в Петрограде, о бегстве из Кронштадта ответственных коммунистов, бушуют матросы, кроют Троцкого матерно, обещают спустить под лед Гришку, знают, что сегодня приедет разговаривать с братишками Калинин. Смеются. Ждут на Якорной площади, где у статуи адмирала Макарова промитинговали всю революцию.

В полдень на Якорной не протолкнуться. С линейных кораблей и из мастерских матросы и рабочие заполнили площадь, ждут, гудят. На окраине грянул оркестр, замахали в воздухе красные знамена. Это по льду из Ораниенбаума приехал невзрачный мужичка в очках, с хитрецой, намуштро-

ванный Лениным и Троцким, всероссийский староста М. И. Калинин. Его сопровождает комиссар Кузмин. Якорная гудит: «Пусть Калиныч поговорит! Пусть расскажет, за что Троцкий наших отцов и братьев по деревням расстреливает!»

На автомобиле въехал на Якорную площадь в сопровождении Кузмина Калинин. Как только въехал, толпы замолчали: глухо встретили всероссийского старосту. На памятник адмиралу Макарову залез ненавистный матросам председатель кронштадтского совета коммунист Васильев, стал кричать в воздух, что товарищ Калинин охрип, не может говорить на площади, пусть идут матросы в манеж. Но заревела матросня:

«Знаем, почему охрип! Не хочет говорить перед всеми! Мы — не Троцкий, не расстреляем! Пусть на Якорной говорит! Не пойдем в манеж!»

Не сговориться с матросами всероссийскому старосте, хитренькому мужику, бывшему рабочему Калинин, приятно устроившемуся в Кремле; пришлось говорить на площади; безобидный человек М. И. Калинин.

Первым поднялся на самодельную трибуну из досок в красном кумаче, возле памятника адмиралу Макарову, комиссар Кузмин. Вокруг трибуны встали матросские представители — Петриченко, Ососов, Тукин, Архипов. Заговорил Кузмин неласково, так, как настроил в Кремле Троцкий, — ни в чем не уступать матросам, сломить матросскую вольницу. Кричал на ветру в уши тысячам взбунтовавшихся матросов все о том же, что только коммунистическая партия — водительница революции, зря матросы бузят, ни к чему это в такой момент, когда Запад готов признать Советскую власть! Надо перетерпеть тяжелое время, что ж делать, когда нечего жрать, стойте, через год все будет... Заревела площадь.

— Долой его! А зачем заградилровка, голод, почему рабочему холодно! Тебе тепло, сволочь! Тащи его с трибуны, товарищи! Комиссарам тепло в дворцах!

Кузмин хотел дальше кричать, но матросы заглушили, накатила толпа на трибуну, и, чтоб как-нибудь смягчить толпу, отстранив Кузмина, поднялся всероссийский староста Калинин.

— Товарищи матросы! Зря бунтуете... зря...

Но как ветер, как ураган понеслось: «Брось, Калиныч, трепаться! Тебе тепло в Кремле! Ты сколько должностей занимаешь, поди везде получаешь!» — захохотали, зашумели в толпе. И напрасно в ветер кричал всероссийский староста так, как учил Троцкий: «Если Кронштадт скажет «А», то мы

ему скажем «Б»...» Уж не слушали на площади матросские толпы. И снова вымахнул Кузмин, хотел взять матросов за живое, стал вспоминать славные боевые страницы Кронштадта и Балтийского флота. И верно — захватил площадь, стихли матросы, когда вспомянули им о геройствах революции, о «красе и гордости», но вдруг с заднего ряда к Кузмину донесся матросский в тишине тенор;

— А забыл, как на Северном фронте нашего брата через десятого расстреливали?!

И котлом заварилась, забушевала ненавистью площадь:

— Долой! Долой!

Кузмин старался, кричал:

— Изменников расстреливали и будем расстреливать! Вы на моем бы месте не через десятого, а через пятого расстреляли!

— Постреляли! Хватит с тебя! Нечего нам грозить, не таких видали! Гони его! Бей!

Кузмина спихнули с трибуны, а на руках подняли своего матроса, и матрос закричал, размахивая в руке фуражкой с лентами, ветер развил черные волосы.

— Товарищи, посмотрите кругом, и вы увидите, что зашли мы в страшное болото! В это болото завела нас кучка коммунистов-бюрократов, которые под маской коммунизма свили себе теплые гнезда в нашей республике! Я сам был коммунистом, призываю вас, товарищи, гоните прочь от себя этих лжекоммунистов, которые толкают рабочего на крестьянина, крестьянина на рабочего! Довольно расстрелов нашего брата! Попили кровушки Троцкий с Зиновьевым!

И заревела душа революции одобрением, гулом, такой страшной ненавистью, что кронштадтская Якорная площадь словно заколебалась. Ни Кузмин, ни Калинин уж не выступали, а на трибуну взбежал юркий матрос Петриченко с линейного корабля «Петропавловск» и закричал о расстрелах рабочих в Петрограде, о казнях крестьян по деревням, о кровожадных бюрократах Зиновьеве и Троцком, окруженном царскими генералами, предложил всей площади принять мятежную резолюцию против комиссародержавия. Открытым голосованием, против Калинина и Васильева, приняла вся площадь резолюцию.

— Арестовать их! — кричали. Но что есть духу покатил по льду всероссийский староста на автомобиле к берегу, где ждал его экстренный поезд, чтобы ехать в Кремль на доклад Троцкому и Ленину. А в Кронштадте образовалась своя власть — революционный комитет из 15 матросов.

Это было 5 марта, а 6-го назначенный подавить Кронштадт командарм-7 М. Н. Тухачевский ехал в тронувшемся от Москвы поезде. Он ехал в Петроград, в Петрокомму, где Гришка все еще лежал на диване, хоть и писал матросам свое воззвание «Достукались!».

Может быть, Тухачевский в вагоне ранним утром полировал скрипичную деку. Распоряжения по переброске 60 тысяч войск к Кронштадту закончены, перебрасывал надежнейшие отряды чекистов, красных курсантов, заградителей, войска, гораздо больше похожие на александрослободских опричников Иоанна Грозного, чем на социалистическую армию.

Петроградский гарнизон уже разоружен; на улицах Кронштадта уже расклеен приказ:

«К гарнизону и населению Кронштадта и
мятежных фортов!

Рабоче-крестьянское правительство постановило: вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской Республики. Посему приказываю: всем поднявшим руку против Социалистического Отечества немедленно сложить оружие. Упорствующих обезоружить и предать в руки советских властей. Арестованных комиссаров и других представителей власти немедленно освободить. Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики. Одновременно мною отдается распоряжение подготовить все для разгрома мятежа и мятежников вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников. Настоящее предупреждение является последним.

Председатель Реввоенсовета Республики
Командарм-7
5 марта 1921 года.»

*Троцкий
Тухачевский*

Но знамена восстанья уже трепал ветер над Кронштадтом. Кроме Красной Горки, все форты восстали, арестован комиссар Кузмин и председатель совета Васильев; вся власть в руках временного ревкома, в который выбраны 9 матросов, 4 рабочих, 1 фельдшер и 1 заведующий школой. Председатель матрос с линкора «Петропавловск» Петриченко проявляет кипучую энергию: надежда — поднять Петроград, матросы уверены — Петроград встанет, а за ним против комиссаров подымется и вся крестьянская волнующаяся восстаньями Россия.

Под председательством Зиновьева в Петрограде образован «Комитет Обороны», Гришка объявил город на осадном положении, в северную столицу стянуты курсантские школы и коммунистические полки, Гришка издал приказ: «...в случае скопления на улицах — войскам действовать оружием; при сопротивлении — расстрел на месте». В Петрограде арестованы семьи кронштадтских матросов, как заложники, их расстреля-

ют при первой же надобности. Всех расстреляет Гришка, не подчиняющихся ему, председателю Петрокоммуны.

Троцкий и Зиновьев прекрасно знают истории французских революций, а матросы глупы. Троцкий улыбается: они делают решительно все ошибки Парижской коммуны 1871 года.

Напрасно офицеры Кронштадта, генерал Козловский, Соловьянов, Арканников, советуют матросам идти в наступление на Петроград подымать красноармейцев, иначе Кронштадт погибнет. Матросы не хотят «лишней крови».

Тухачевский движется, стягивает к Кронштадту войска. «В истории все решается минутами!» — на заседании ревкома кричат офицеры. Напрасно. Матросы, те, что четыре года назад шли во главе террора революции, сбрасывая правых, виноватых под лед, возражают против решительных мер. Они — за свободу, они будут только обороняться, если Троцкий посмеет пролить народную кровь.

Вот заслуга Троцкого и Зиновьева. Небывалым в мире террором в широчайших массах русского народа они вызвали отвращение к крови. Это — крупная заслуга. Но Троцкий не останавливается и во время Кронштадта, его приказы матросам четки: «Перестреляю, как куропаток!» — пишет человек в пенсне и в стрелецком шишаке, с язвой в желудке.

Над ледяным Финским заливом уже появились аэропланы Тухачевского, сбрасывают во взбунтовавшийся матросский город бомбы, прямо в дома, терроризируя население и защитников мятежных фортов, имитирующих парижских коммунаров, упускающих минуты, творящие историю. Коммунары не шли на Версаль Тьера, когда его правительство было дезорганизовано, так же как кронштадтские матросы не пошли на Петроград, когда в нем развалилась Гришкина власть.

Теперь город Петра уже на осадном положении. Страна схвачена под уздцы. Тухачевский раскинул 60 000 войска, готовя приступ по льду Финского залива.

Не только историю революций, Троцкий с Зиновьевым лучше матросов знают и погоду. Над Кронштадтом ранними утренниками проносятся звенящие клинья журавлей, стаи уток, почувствовавших тугу падающую северную весну. Еще недели три, тронется лед с Финского залива. Тогда крепость станет неприступной, а взбунтовавшиеся корабли легко двинутся на столицу Зиновьева, и она не окажет им никакого сопротивления.

Кто знает, не встанет ли тогда вся разоренная Кремлем крестьянская Россия? По ней уже бродят там и тут повстанческие атаманы. Недаром Максим Горький пророчест-

вовал Зиновьеву, что именно мужики оторвут хитрую зиновьевскую голову.

Троцкий торопит Тухачевского. Уже 7 марта в прохладных морских соленых сумерках, в 6 часов 45 минут, громыхнули с Сестрорецка и Лисьего носа первые батареи коммунистов по кронштадтским мятежным фортам; за ними грохнули по Кронштадту тяжелые орудия Красной Горки, оставшейся верной Кремлю.

Кронштадт принял дуэль в сумеречной тишине ледяного залива ответными ударами со всех фортов. По Красной Горке бьет линейный корабль «Севастополь», да так, что матросская изменница замолчала сразу. А в Кронштадте ревком из 15 человек, только с гораздо меньшей художественностью, повторяет все февральские жесты прогнанного ими же Керенского.

Ревком шлет радио всем, всем, всем! «Итак, грянул первый выстрел. Пусть знает весь мир! Стоя по пояс в братской крови трудящихся, кровавый фельдмаршал Троцкий первый открыл огонь по революционному Кронштадту, восставшему против правительства коммунистов для восстановления подлинной власти советов! Мы победим или погибнем под развалинами Кронштадта, борясь за кровное дело трудового народа! Да здравствует власть советов! Да здравствует Всемирная Социальная Революция!»

А кровавый фельдмаршал Троцкий, деля матросскую ненависть с Зиновьевым, сыпал любителю деспотизма Михаилу Тухачевскому директивы, напоминая, что «расстрелять, как куропаток» надо быстро и не жалея патронов. «Троцкий — Трепов», «Малюта Скуратов» — кричат матросские летучки перманентному революционеру. Троцкий только улыбается под пенсне. Тухачевский уже развертывает решительные боевые действия, чтоб со всей беспощадностью и остротой подавить взрывом террора восстание в корне.

Митингуют матросы, крича: «Пусть нам трудно! Пусть уменьшится выдача продовольствия защитникам фортов, потерпим, только б не было возвращения коммунистов!»

В течение ночи гудит, бьет по мятежной крепости артиллерия Тухачевского. Удары глухо по льду относит к Петрограду, их слышат там и Гришка, и волнующиеся рабочие, взятые в осадное положение. А лед Финского залива уж синее, бухнет, еще две недели — вскрыется, и тью-тью Кронштадт от Троцкого. 7 марта истек час ультиматума, не сдались матросы. Из великокняжеского поезда Тухачевский отдал приказ о штурме.

Ранним утром лед еще чуть розов и синь, двинулись на Кронштадт на штурм фортов крепости цепи войск Тухачевского. Он детально разработал осаду с севера и с юга. Под прикрытием батарей с Сестрорецка и с Красной Горки красноармейцы и курсанты пошли по льду, одетые в белые саваны. Губительным огнем встретили атаку матросы. Поднялась метель, сгущались сумерки, наступала ночь, а комиссары армии Тухачевского все гнали красноармейцев, подпертых сзади цепями курсантов с пулеметами.

Ураганный пулеметный и орудийный огонь открыли в ночи матросы. Взвихривались, взрывались в темноте массы льда и огненные воронки снега. С громовым «ура!» бросились было курсанты на форт № 7, но под матросским огнем смешались, дрогнули, и началось паническое отступление всех войск Тухачевского.

Ночная атака не удалась. Когда стихла метель, утро осветило на огромном ледяном пространстве Финского залива тысячи трупов в белых саванах. Это полная неудача.

В Ораниенбауме взбунтовались красноармейцы, не хотят идти против матросов. И комиссары Разин, Медведев и Сотников с чекистами расстреляли полк через пятого. Тухачевский свел под Кронштадт всю надежду правительства, тут и заградители, по локоть в крестьянской крови от долготетней работы по деревням, и чекисты, и башкирские и киргизские отряды с Волги.

Прямой провод гудит. Тухачевский находит необходимым для поднятия морального состояния войск прислать в войска видных партийцев. И Москва, охваченная волненьем, с которым несравнимы даже волненья в годы поражений белыми генералами, прямо с X съезда партии шлет 300 самых знатных, самых сиятельных членов партии укрепить дух войск в наступлении на матросов. Ворошилов, Бубнов, Затонский, Дыбенко, Буденный, кого только нет, они должны влить преданность власти.

Тухачевский отдал новый приказ войскам; на этот раз приказывает идти на штурм не цепями, а, несмотря на губительный огонь, — сомкнутыми колоннами.

П р и к а з ы в а ю:

В ночь с 16 на 17 марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт. При этом: 1) Артиллерийский огонь открыть в 14 часов 16 марта и продолжать его до вечера; 2) Движение колонн Северной группы в 3 часа, Южной группы в 4 часа 17 марта; 3) Северная группа атакует северо-западную часть города, Южная — северо-восточную и юго-западную часть города; 4) Группам

ограничиться лишь занятием наиболее препятствующих движению фортов; 5) Командующему Южной группой назначить общего начальника по руководству войсками в уличных боях в Кронштадте; 6) Командующему Южной группой обратить внимание на своевременное овладение северо-западной частью острова Котлин; 7) Соблюсти полную точность движения колонн; 8) О времени получения сего и о распоряжениях донести.

Командарм-7 Тухачевский.

Все развернулось, как захотел командарм. В 14 часов легкие и тяжелые батареи южного и северного берегов залива открыли ревущий огонь. Мятежники повели ответный огонь с кораблей и фортов. Финский залив огласился несусветным ревом умирающей революционной анархии.

Густой туман мешал корректированию огня. Когда сгустились над заливом сумерки, артиллерийская дуэль меж Тухачевским и матросами смолкла. Ухнули последние тяжелые орудия на берег с чернеющего вдали «Петропавловска», и над заливом наступила отдыхающая тишина.

Матросы поняли: будет приступ. В звенящей сумеречной снеговой тишине с берега зажужжали пропеллеры аэропланов. В сумерках, почти в темноте, поднялись они и пошли на крепость звенящими птицами. Тухачевский приказал вылететь всей эскадре и для морального потрясения мятежников сбросить на Кронштадт бомбы.

Прожекторы кораблей и фортов волновались. То щупали полосами лед перед крепостью, ища цепи врага, то уходили в небо, где гудели в темноте железные птицы Тухачевского. Неожиданные удары-взрывы бомб с аэропланов усилили в крепости нервность защитников и подсказали вероятный решительный штурм.

Бомбы Тухачевского убили несколько мирных жителей и ранили 13-летнего мальчика. Аэропланы улетели, как приказал командарм. Кронштадтцы подняли на ноги всех: штурм ясен, замерли форты крепости, прожекторы нервно щупали снеговое пространство, ракеты, взвиваясь огненными хвостами, гасли, падая на лед.

На берегу под личным руководством красивого, стройного, молодого барственного человека войска готовились, занимая исходное положение. Проходя мимо командарма, одетые в белые саваны, в белой ночи, отвечая на приветствия: «Служим революции!» — эти войска походили на смертников. Впереди каждого полка, как приказал Тухачевский, пошли штурмовые колонны для преодоления препятствий и расчистки дороги атакующим по льду.

Разговоры были прекращены, сигарки давно брошены; команда передавалась шепотом, иногда хлюпала под сапогами вода. Где-то в темноте на берегу была еще слышна напутственная речь запоздавшего члена X съезда партии.

Колонны начали спускаться на лед, и стало слышно, как закрипел снег под тысячными ногами. Этот скрип все еще раздавался, хоть густой туман уже и скрыл в темноте пошедшие в саванах на штурм войска. Вслед за атакующими только черными кочками пошли на лед связисты, устанавливая на льду контрольные телефоны, да на салазках сзади повезли пулеметы, чтоб подгонять наступление.

Тухачевский оставался на берегу.

Стояла ночная тишина Балтийского моря. Под Кронштадтом не раздавалось ни выстрела, только металось, как белые ищущие руки, прожекторы с кораблей.

Так прошел час. Но вот — ухнули кронштадтские орудия, прожекторы нащупали штурмующих, и, ослепляя их светом, заревела ночь картечью, пулеметами, ломая лед, били по колоннам гранаты, взрывая полыньи фонтанами воды.

Встрепенулись крики «ура», все смешалось тяжелым непрекращающимся гулом. Тухачевский ждал в бывшем великокняжеском поезде, сидя у телефона. В соседнем купе — дерево для скрипок, лобзики, станок, струны. Троцкий спал в Кремле, в покоях бывших московских царей, Зиновьев — в особняке в Петрограде.

Телефон командарма стонал, крикал, стекла вагона вздрагивали от ударов ночи. Частью вплавь по уже тающему льду, с криками «ура», обегая полыньи, озверев, лезли курсанты на штурм фортов Кронштадта. С семисаженой бранью, в поту, отстреливались матросы.

Но курсанты все ж брали верх, вбегали уж на валы, пошла рукопашная на фортах «Тотлебен» и «Красноармеец», и оба форта пали под штурмом. Ожесточенный бой пошел уже на улицах города, матросы не сдаются Троцкому живьем, все равно расстреляют. Не видали давно воды Балтийского моря такой жестокой схватки, как эта, — революционной вольницы и насевшего на нее революционного деспотизма.

Зиновьев и Троцкий разбужены; гудят прямые провода: Тухачевский бьет Кронштадт, уже занято полгорода. Тухачевский с командирами групп на берегу залива: из охваченной кровавой баней крепости по льду в Финляндию убегают кронштадтские беженцы. Отбиваются матросы, как звери, знают — от Тухачевского с Троцким пощады не

будет, хоть бы семьям уйти. Озверели и курсанты, заградители, чекисты.

К утру пал последний форт и сдались обезлюдевшие мятежные корабли с перебитой, переколотой у пушек прислугой; бежал в Финляндию ревком, игравший «Парижскую коммуну».

Как грозил Троцкий, ворвавшиеся войска Тухачевского расстреляли тысячи, «как куропаток». Прав был Зиновьев, когда писал матросам с дивана: «Достукались!» Достукалась «краса и гордость революции», о которой в 1917 году Троцкий красно отвечал Керенскому, обеспокоенному матросской вольницей: «Да! Кронштадтцы — анархисты, но, если наступит последний бой за революцию, они будут сражаться на жизнь и смерть!» Они так и сражались... против Троцкого.

В особняке, в честь украшенного уже двумя орденами Красного Знамени подавателя Кронштадта Тухачевского, Зиновьев дал обед, но Тухачевский торопился в Москву. Там в залах Кремля жал ему руки, потряхивая пенсне, улыбаясь и бесконечно остра насчет «куропаток», журналист Троцкий. Малоразговорчив М. Н. Тухачевский, но на расспросы Льва Давидовича рассказал:

— Пять лет на войне, а такого боя не припомню. Это был не бой, а ад. Орудийная стрельба стояла всю ночь такая, что в Ораниенбауме стекла в домах полопались. Матросы как озверелые. Не могу понять, откуда у них злоба такая?

Троцкий улыбнулся, пожал плечами.

— Каждый дом приходилось брать приступом, — прохаживаясь со сгорбленным фельетонистом в кремлевском зале, рассказывал Тухачевский, — задерживает такой домишка целую роту курсантов полчаса, наконец, его возьмут, и что ж вы думаете: около пулемета плавают в крови два-три матроса, уже умирают, а все еще тянутся к револьверу и хрипят: «Мало я вас, сволочей, перестрелял...»

— Мда... не просто это. Но, увы, это уже история, — поблескивает стеклами пенсне предреволюционного и снова острит. Троцкий бесконечно остроумен.

Но для праздных разговоров у Тухачевского с Троцким мало времени. Строится новое Российское государство, правда, неизвестно, какого еще стиля будет фасад, зато фундамент закладывается по-хозяйски, на совесть. Только вот в Тамбовской губернии продолжает бушевать мужицкая вольница. Вся губерния горит восстанием против Кремля.

И Михаил Николаевич Тухачевский принял новое назначение — главнокомандующий против восставших в По-

волжье мужиков. Облечен правом судить и миловать именно тех крестьян, где по именьям знакомых помещиков гостил, бывало, Тухачевский ребенком. Тухачевский выехал на Волгу. «Барин — демон, барин вывернется».

ПОДАВИТЕЛЬ КРЕСТЬЯН

Кронштадтское восстание бушевало на фоне общего всеобщего мятежа русских мужиков. В январе — феврале 1921 года мужик жестоко топором «регульнул» систему кремлевского военного коммунизма. Загорелись бунты — в Сибири; Ишимское восстание; по Украине на тачанках понесли повстанцы-атаманы; Северный Кавказ восстал во главе с комбригом Ершовым, но самыми угрожающими мужицкими громами разразилось Поволжье, бушевавшее семь месяцев во главе с легендарным атаманом-мстителем Герасимом Павловичем Антоновым.

Жестоко прокорректировали русские мужики кремлевского Маркса. В Тамбовской губернии стеклась к Антонову стотысячная армия, ее нечем вооружить, но все ж десять тысяч кавалерии и пехоты у Антонова вооружено — и с ними низкорослый человек с карими смышленными глазами создал тамбовскую «государственную пустоту» разино-пугачевской вольницы, пойдя против «камунии».

Ненависть мужика к кремлевской государственной машине была огненна. Тамбовский губпродкомиссар Гольдин, рассылая отбирать хлеб коммунистические отряды, напутствовал их: «Не жалеть никого, даже мать родную!» Заградители не жалели «родную мать», вырывая мужицкий хлеб вооруженными налетами, расстрелом, поджогами сел.

Но чуть-чуть не сломали себе шею о крестьянские вилы женевские эмигранты; их спасли только Ленин и Тухачевский. Махнув на Маркса рукой, Ленин пошел мужику на неожиданные уступки. Женевская головка Кремля с изумлением глядела на Ильича. «Как до мужика дело дойдет, Ильич всегда оппортунист», — усмехался Троцкий.

А 28-летний важный барин М. Н. Тухачевский выехал главнокомандующим в горящую мужицкими восстаниями тамбовскую «государственную пустоту». До него посылаемые на подавление бунтов полки и бригады несли поражения, переходили на сторону мужиков, и мужицкие зарницы казались уже видными из кремлевских окон.

Сам Ильич давал наказ российскому Бонапарту: усмирять безжалостно, но против масс репрессий не применять,

а пытаться отрывать повстанцев от населения, безжалостно уничтожая бунтовщиков.

В Тамбовской губернии гудели набатные колокола в селах: волновалось сермяжное море дубинами, оглоблями, вилами, ружьями-берданками.

Герасим Павлович Антонов разъезжает по селам.

— Не робейте, — кричит, — братцы! Ничего, что Россией правят Троцкие да Петерсы! Не надолго их хватит, измотаются, сукины дети! Намылим мы им веревки! Не справиться Ленину с народом.

Особенно красен Кирсановский уезд, тут давно сам «удалой гуляет», как зовут мужики низкорослого человека с смышленными глазами, бывшего народного учителя Г. П. Антонова, выступившего мстителем «камунии». С ним адъютант «Авдеич» — прапорщик из солдат Авдеев и крестьянский парень — партизан «Тулуп».

Антонов главной нагайкой в две тысячи человек бьет, вырезает без пощады всю «камунью»: чекистов, продовольственников, заградителей. Свыше года передвигается по губернии; то налетит на Тамбов, то пойдет по уездам. Коммунисты пустят слух: поймали, убили Антонова, а с базара приедут мужики, привезут бабам веники, развяжут, а в вениках записки: «Кто веники покупал, тот Антонова видал».

По тамбовским полям ходил вольницей Антонов, за одно лето в Кирсановском уезде ста комиссарам «выдал мандат на тот свет», вырезал зверским мужичьим русским образом.

С прибытием в Тамбов Тухачевский объявил всю губернию на военном положении. И все же мужики не отдавали Антонова; он скрывался по селам, мстил Кремлю и чиновникам комиссара Гольдина.

— Пришел конец нашему терпенью! — кричит на сходах. — Перебьем камунью, освободим Россию! — И жесткое море лаптей, зипунов, вил, дубин, оглобель шумит, идет за Герасимом Павловичем. Уже создан «Союз Трудового Крестьянства», в селах выбраны штабы, вырыты окопы для встречи курсантов Тухачевского.

По дорогам, меж вековых полусухих берез, тянется мужицкое антоновское войско походом на красный Тамбов, подымая лаптями весеннюю пыль. Тут и кавалерия без седел, и пехота с вилами, дубьем, с пулеметами, ружьями. Попутные села встречают восставших колокольным звоном.

Но с барином Тухачевским прибыли московские броневые поезда, бронеавтомобили, пять пехотных и кавалерийских дивизий; железнодорожные батальоны.

До Тухачевского под селом Златовкой антоновцы столкнулись с коммунистическим Отрядом имени Троцкого — разбили, пропоролы вилами брюха курсантам и заградителям. Но теперь под Тамбовом Тухачевский зажал мужичью армию Антонова в треугольнике железных дорог. Только смелым прыжком меж Саратовской и Палашовской железными дорогами, прорвав кольцо, ускользнул на север низкорослый, смысленый Герасим Павлович.

Опять жжет совхозы, налетает на станции, вырезает коммунистов, а когда надо, рассыплет отряды по селам, и снова пашут, молотят антоновцы как ни в чем не бывало, чтоб потом по знаку атамана взяться опять за вилы, за зарытые по огородам ружья и опять идти в налеты, в резню против коммунистической власти.

Жестоко атаманствовал по губернии Антонов, не мягки и братья Матюхины, не дает милости и отдельный атаман Васька-Карась и девка атаманша Маруська, тамбовская Жанна д'Арк.

В распоряжении Тухачевского было до ста тысяч войска, которое не перейдет к мужикам: курсанты, мадьярские конные отряды, чекисты, интернациональные полки, испытанные латышские коммунистические части, с Украины по телеграмме прибыла кавбригада Григория Котовского.

Трудно Антонову и братьям Матюхиным сражаться с стратегией и тактикой красного полководца. Он сжимал их правильными маневрами. Только дым стоял от сгоревших восставших сел. Тут «заветы» Ильича позабыты, военачальники распоряжаются по-своему, села поджигают по-татарски, с четырех концов, и расстреливают массово правых и виноватых. Россию надо усмирять диким, варварским дыханьем.

В резиденцию красного главнокомандующего, Тамбов, рапортовали начальники: после семимесячной борьбы сжали в турий рог мужицкие силы. Прямым проводом Тухачевский доложил Троцкому, что дело огосударствления Тамбовской губернии движется.

Только заросшие крапивой и полынью сельские кладбища с низкими косыми крестами знали, сколько русских, седых, черных, льняных мужицких голов порубил Михаил Тухачевский. Много порубил на полях и заливных лугах по реке Вороне, но разбил антоновцев наголову. Сам Антонов, отступая с последними отрядами, ушел в леса за Ворону.

Мужики скрывали Антонова, проводили из села в село с адъютантами Авдеичем и Тулупом, но курсанты все ж

накрыли антоновскую избу, окружили и выпрыгнувшего из окна Антонова расстреляли.

Кремлевские газеты вышли с заголовком: «Ликвидация банд Антонова»; а вскоре кавбригада Григория Котовского разбила и последнюю банду кузнеца Матюхина, которого собственноручно застрелил Котовский. Тамбовская губерния замолчала. И Михаил Тухачевский вернулся в Москву, после многих побед украшенный еще одной — поволжской. От поволжских мужицких восстаний и их широкого тамбовского разлива осталась всего-навсего заунывная песня:

Что-то солнышко не светит,
Коммунист, взводи курок.
В час последний на рассвете
Расстреляют под шумок.
Ох, доля, неволя,
Могила горька...

Говорят, эту песню пели последние антоновцы, когда вели их расстреливать курсанты Тухачевского.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1924 году, будучи 31 года от роду, Тухачевский стал уже членом Реввоенсовета республики. Но когда всемогущего предреввоенсовета Троцкого выбросил на Принцевы острова генеральный секретарь партии Сталин, карьера Тухачевского дала крен.

Тухачевского отправили в жаркий Туркестан командовать округом; потом сняли со строевых должностей; он занял почетное, молчаливое место начальника Академии Генерального штаба. Но потом звезда снова блеснула полным блеском.

С 1930 года Тухачевский избран в областной комитет коммунистической партии Ленинградской области и принял в командование ответственный Западный военный округ, которым когда-то командовал великий князь. Теперь у Сталина Тухачевский — «товарищ военного министра», заместитель Клима Ворошилова.

В чемпионате советских полководцев у Тухачевского нет соперников по влиянию и военной славе. За исключением разве таинственной «черной маски».